

ФЕДЬКИНЫ УГОДЬЯ





У каждого из нас свой путь, хотя и сходятся они где-то. И если этот путь увёл человека в сторону, то говорят: так на роду написано. Не веря ни в Бога, ни в чёрта, ни в приметы, мы всё же по привычке пожимаем порой плечами: жил человек, как все, и вдруг пошло у него вкривь и вкось. С чего бы? И сам не разумеет.

ИСТОРИЯ эта не даёт мне покоя. Не верилось, что нет рядом того, с кем немало исходил по болотинам, по рассохам и бескрайним, казалось, борам. Не верилось, что долго не увижу его, да и какой-то ещё будет встреча.

Чтобы заблудиться в лесу, нужно сделать всего один непутёвый шаг, а чтобы выбраться на дорогу, порой и недели мало. А жизнь — не лес, разбитый на кварталы, по углам которых, на перекрёстках просек, заботливые руки лесников поставили указательные столбы с точным адресом. В жизни трудней.

У каждого из нас свой путь, хотя и сходятся они где-то. И если этот путь увёл человека в сторону, то говорят: так на роду написано. Не веря ни в Бога, ни в чёрта, ни в приметы, мы всё же по привычке пожимаем порой плечами: жил человек, как все, и вдруг пошло у него вкривь и вкось. С чего бы? И сам не разумеет.

Работая в газете, слыхал я разные истории, и вмешиваться приходилось, люди в помощи нуждались, и чаще она поспевала. А тут не довёл дело до конца, спасовал или понять до конца не смог — сам не знаю.

Попробуем же вместе распутать клубок судьбы, может быть, последнего из рода Хозяиновых, крепкого когда-то рода, ныне разбросанного ветрами жизни по разным сторонам. А ветры эти бывают не только тёплые, не только попутные, но и колючие с морозом, пронизывающие до костей.

* * *

В сумрачный зимний день скрипели полозья по дороге, ведущей в Спиридоновку. Она, эта дорога, поначалу была

широкая, с бесчисленными ответвлениями и следами тракторных гусениц, которые не только изрыли снег до самой земли, но и повалили немало растущего на обочине сосянка. Но чем дальше от райцентра, тем уже, а за Нерицей осталась лишь санная полозница. Малорослая, заинdevелая лошадка, тяжело поводя боками, потряхивая большим круглым животом, трусила по дороге, позывая к себе уздечкой. Дул хиус. Казалось, будто сотни иголок впивались под кожу. Я закуталась в овчинный туалуп, зарылся в сено и думал о том, что, наконец, увижу Фёдора.

Возница, спирidonовский лесник, молчал и потряхивал вожжами, хотя знал — из лощадёнки большого не выжмешь. Она обладала удивительно постоянным характером: задрав голову и высоко вскидывая ноги, бежала под гору, пытаясь вылезти из хомута, опрокидывая кошеву в самый последний момент, когда спуск уже кончался, а на ровном месте переключалась на ступь.

Странно было после возвращения из города слышать скрип половьев, потрескивание деревьев, изредка хлопанье крыльев глухарей, взлетающих из-под снега и тут же снова падающих с сугроба. Словно и не было дней, когда мне казалось, будто не голуби воркуют на балконах, а косачи слетелись на ток, вот-вот зачуфыкают при первых лучах солнца. Не пересохший корешок табака потрескивает в трубке, а уголёк вылетел из каменки на шесток, вспыхнуло смольё, осветив неровным пламенем угол старой промысловой избушки. Словно не было долгих лет, проведённых вдали от дома. Ничего не изменилось тут — те же леса, зимник, пролёгший через болота к Спирidonовке, где живёт мой однокашник, для многих непонятный, с загибами, как говорят, человек.

— Мороз воду из болот выжимает, — сказал Павел Алексеевич, — туман образуется, а это самое паршивое дело. Такая стынь, что кости ломит. Концы отдать недолго. А ты хорош — в куртке, виши, вздумал поехать. Как будто ма-лицы не нашлось. Перед кем цгейкой форсить? Теперь этим не удивишь, все такие носят.

Он поправил сплющенное с моих ног овчинное, спищтое мешком одеяло, и уже более миролюбиво добавил:

— Скоро изба. Кушником-то знаешь кто? Егорыч, другожок мой!

У смотрителя, или, как его называют в наших местах, кушника, я долго грелся на раскалённой печи, переворачивался с боку на бок, а зубы продолжали отбивать «барыню». Потом, обжигаясь, пил чай, разбавленный спиртом.

Разные они люди, хотя и друзья закадычные, лесник Машенцев и кушник Вокуев, у которого и обязанностей-то — держать избу в тепле, ставить на стол самовар для приезжих, приютить на noctleg сеновозчиков, которые тратят на дорогу туда и обратно по двое суток. Без ночёвки тут не обойдёшься. А на тракторах сено с дальних покосов не вывезешь — болота долго не промерзают.

Один — пухлый, розовый, с чистыми, как вода в Нерице, глазами, толстяк, добродушный ворчун, а второй — узколицый, щустры, как молодая лайка, вспыльчивый. Осенью они всегда вместе силья на птицу ставят, зверя высматривают. Путники их десятка на два километров протянулись через болота и рассохи. Друзья — водой не разольёшь. И не подумаешь, что за осень они по несколько раз успевают поссориться, поделить угodyя, снова объединяться, пока наконец не выпадет глубокий снег и не потащатся старики домой, свалив добычу в одно место, волоча за собой тяжело нагруженные чунки — узкие, длинные, с широкими полозьями санки.

Поссорятся между собой, разойдутся по разным избушкам, но третий не встревай — лишним будешь. Послушали бы вы, как они перемирие заключают между собой.

— Ты на меня не сердись, Егорыч, — скажет Машенцев, поглядывая на него с порога.

— Бог простит, Пашка! — ответит Вокуев.

— Я не со злобы, сдуру...

— Я тоже не от большого ума...

И молча возьмутся за обыденку: один разжигать печь, другой накрывать на стол.

— Егорыч-то сказывает, куничек добыл. А я замотался с этими делянками — там отводи, в другом месте отводи да проверь всё. Перестал промышлять. И ружьё уже не волочу, — рассказывал лесник, когда мы покинули гостеприимную избу.

— Тяжело, наверно, без жены?

— Всякое бывало с покойницей, и поругивался порой. Так уж нам на роду, мужикам, написано. А не стало Матве-

евны — опустел дом и поговорить-то не с кем. Спасибо, Фатина приехала, племянница. У меня теперь живёт. Приглядывает за стариком. Со своим она чего-то не поладила. Ушла. Э.. Поймёшь вас, молодых!.. Своих-то у меня нет, она уйдёт — на кого дом оставил? Окрутит какой-нибудь экспедиционник — и поминай как звали.

Где-то под утро мы добрались, наконец, до Спиридовки. Тихо звякнуло большое узорчатое кольцо на входных дверях, подпрыгнула щеколда.

— Ты, дядя? — послышался женский голос.

— Я, Фатинушка, я. С гостем.

И снова самовар. Шаньги. Крепкий, по-ижемски, чай. Спросонья, с холода я не разглядел по-настоящему лица молодой хозяйки, но голос её напомнил мне что-то полузаубытое, давнее. Старался припомнить и не мог. И радовался, что выбрали из тёмных ельников на свет, к людям. Может, потому мне и не спалось долго?

Шуршили за обоями тараканы. Трещали углы дома. По горницам бродили лунные блики, а из соседней комнаты послышалась шёпот:

— Господи, прости нас, грешных, прости окаянных, — и тоскливо скрипнули пружины высокой никелированной кровати, украшенной блестящими шариками.

«Ещё кто-то есть? Померещилось! — и я повернулся лицом к стене, чтоб не был в глаза яркий лунный свет, залез с головой под одеяло.

Рассвetaет зимой поздно. Я встал, когда за окном было ещё темно, а стрелки на часах показывали уже больше десяти. Лесник о чём-то тихо говорил на кухне с племянницей. По оттаявшим окнам можно было догадаться: погода ломается, метели вот-вот начнутся. А мне, кроме деловых встреч, хотелось побывать в родовых угодьях друга по Федькиному ручью.

Теперь я узнал хозяйку дома, вернее, вспомнил, кому принадлежал певучий, какой-то необычно тёплый говорок. Это была Фатина. Учились мы в одной школе, в одном интернате жили. И как не мог раньше догадаться. Тогда она была худенькой, с острыми ключицами девчушкой, которая никак не могла понять, как это Волга от ручейка начало берёт. «Нерица, сколько ни иди, — говорила она учителью, — всё такая же». И я тоже от неё недалеко ушёл. На бу-

маге север всегда обозначается сверху, а я рисовал его с какой угодно стороны, только не по правилам. Качнёт учитель головой, исправит чертёж, а я спрашиваю у него: «Как это сверху, если север у нас снизу? На север-то вниз по реке едем...»

Сейчас передо мной стояла ещё молодая, но уже с чуть заметными морщинками у глаз женщина, лишь отдалённо напоминающая нашу Фатию. Ночью мне, наверно, померещилось. Хозяйка дома не походила на богомолку. Она утконоса ухаживала за гостем, рассказывала дядюшке о деревенских новостях. Волки у Петрухи Сидковых собаку утащили, несколько элитных баранов в колхозе пало, доиться коровы меньше стали с худого корма, бригадир опять жену побил — синяя щалью закрывает, чтоб люди не судачили. В таких деревушках всё это — события большой важности, обсуждают их с не меньшей серьёзностью, чем вопросы о международном положении. И только когда я напомнил о том, уже далёком для нас, времени — голодном, но радостном детстве нашем — Фатина улыбнулась:

— А я думала — не вспомнишь. Загордился, про себя баю, нос задрал, своих не узнаёт.

— Фёдор-то как живёт? — спросил я.

— Что ему сдеется. У развалюхи своей два ряда сменил нонечь, крышу перекрыл. Дом-то ставят, да когда-то ещё... В лес он вчера ушёл.

Я даже присвистнул с досады. Значит, он письма моего не получил, вместе с нами, выходит, пришло письмо.

— Он заходил? — спросил у Фатины лесник.

— Тебе, дядя, поклон передавал, — насмешливо ответила она. — Посидел как сыр у порога, шапку помял. После, бает, заглянёт.

— Не сказал, когда вернётся?

— Скоро не жди. Он, если уйдёт в лес, обратно не торопится. Мешок-то полный нагрузил. На Середнюю собирался.

— Худо дело, а я ему гостя вёз, — лесник озабоченно поглядел на меня, поглаживая рукой курчавую бороду. — Гм!.. Разминулись на грех.

— Не велика беда, и у нас погостит. В кои-то веки новый человек появился. Аль мы хуже других живём?

— Так-то оно так, да ведь и у него дела.

— Не уйдут дела. И меня просветит. В клуб не хожу,

газет не читаю. Телятница из меня не ахти какая. Парторг совсем загрыз. Ты, бает, Фатина, отсталый элемент. А я похожа на этого... отсталого?

Хозяйка повела плечами, непонятно усмехнулась и тут же смущённо опустила глаза. В её строгом, типичном для женщин отдалённых деревушек облике было что-то противоречивое, незнакомое для меня. Чтобы вызвать Фатину на разговор, я попыстистил ей: расцвела, мол, и не признаешь сразу-то, ещё лучше, чем раньше, стала.

— Лучше не лучше, а другой не быть,— тихо ответила она и загремела посудой.— Все мы лучше делаемся, да что-то хорошего мало. В правление зайдёшь — только про силос да про молоко и говорят. В клуб, и он есть — по три сеанса кино разом, и прощай на месяц. Ломом ржавчину с замка сбивают. В ларёк забежишь с полушки, на неё ныне грех обижаться, а там одни бутылки... Напиться, что ли, думаешь. А корреспонденты как, тоже пьют?

Пришло время рассмеяться и мне.

— На пару с тобой можно...

— Я к тому: у дяди в шкафчике стоит, да он тебя побаивается, а голова у старика трещит. Уважь его.

— Балуешь старого?

— Один он у меня,— Фатина вздохнула.— Ничего ты, корреспондент, в нашей жизни не поймёшь. Поглядишь, как корова на вывеску, да и уедешь, а там промычишь что-нибудь.

— Плохо же ты думаешь о нас.

— А что хорошего в писанине? Бумагу изводите только. Проку-то от вас.

Павел Алексеевич, надвинув очки на переносицу, что-то подсчитывал в другой комнате, мусолил языком химический карандаш.

— Дядя работает. Прикидывает, наверно, сколько сосновок в лесу осталось, не упразднят ли до его выхода на пенсию должность лесника.

— Ты мне так и не ответила, как Фёдор-то живёт.

— Про него у дяди спроси. Приятели они. Не... не как люди. Всё у него вкривь да вкось идёт. Не пьёт, не шумит, в карты не играет, по соломенным вдовам, таким как я, не бегает, а всё какой-то сумеречный, будто сушиной по загривку огрели.

— А мне думалось — счастлив он.

— Мало ли чего кому думается. Он тут вспоминал про тебя, поджидал.

— Не мог я раньше.

— Недалеко теперь живёшь, ешё набродитесь в лесу. Погости и у нас. Понравится — не отвадишь. Коли лишнего тут наговорила, так не слушай: к слову пришлось.

* * *

Я всегда, с давнего знакомства, радостно удивляясь, глядел на Спиридоновку. Прапрадам нашим не откажешь в добром вкусе. Место они выбрали завидное. От холодных северных ветров защищают деревушку крутые увалы Тиманских предгорий. Для расчистки земель потребовалось немного — естественные луга рядом, лишь кустарник палим извели. Леса кругом без конца и края. Дома, не в пример среднерусским селениям, мужики и теперь отменные ставят, окнами, как везде по Северу, к реке. Ровным рядом стоят они вдоль берега, который делает здесь крутой поворот, образуя мег. Среди новых одноэтажных домов выделяются стоящие на краю деревни старые хоромы с большими поветями и возвозом. В одной из них и жил Фёдор. Я хотел повидать его стариков, но помешала неожиданная встреча.

Около правления меня остановил Ипат, по прозвищу Варнак.

— А я-то слышу — гость приехал,— взмахнул он руками.— Кто бы, думаю, зачем? Не из рыбнадзора? Нет! Тогда из охотинспекции. Кому же больше?

— Нет, Данилыч,— ответил я, посмеиваясь.— Из газеты.

— Запамятали. Э, да хрень редьки не слаше!

Его борода разевалась по ветру. Несмотря на мороз, Ипат шёл по улице в одном пиджаке, в рубахе с распахнутым воротом.

— Не простыл бы,— сказал я.

— Не та кость!..

— Фляжку-то зачем прихватил?

— Идём-ка со мной. Там поймёшь. Как раз корреспонденту дело есть.

Растяпанный, стреляя во все стороны красноватыми глазами, он ввалился в правление и обрушился на председателя.

— Ты погляди, что деется, погляди. Совесть народ потерял,— и он затряс пластмассовой фляжкой.— Иду я это, значитится, из ларька. Голова звенит. Опохмелиться вот вздумал. У соседки трёшку вымогил, значитится. А Петиха навстречу, с фермы — с фляжкой. Молочко, значитится, тащит. Аль ты разрешил? — гремел старик.

— Ничего я не разрешил. Толком объясни,— председатель развел руками.— Ворует?

— Сами не видите? Вот она — фляжка.

— А молоко-то пролил, что ли?

— Как пролил? Не пропадать же добру, не в правление же его нести. Выпил, значитится, за ваше здоровье. Молоко, брат, на похмелку первейшее дело. Своей-то коровушки не держу.

— Так зачем же пришёл?

— Доложить пришёл. Ворует Петиха. Иду я это, значитится...

Стены правления затряслись от хохота.

— Значит, ты с ней заодно? — спросил у Ипата председатель.

— Как это, значитится, заодно? — и старик начал рассказывать снова.

— Ладно, разберёмся. Шёл бы ты, Данилыч, отдыхать. Люди на работу, а тебе в ларёк лишь бы заглянуть.

— А ты меня не пушай,— рассердился старик.— Не на твои пью. И я в колхозе не меньше вашего поробил. И тракторов не было, и мужиков раз-два и обчёлся. Ничего, справлялись. Теперь-то лада... Ишь, начальство,— ворчал он, уходя.— Справедливости не любит. Слова не скажи. Я и до района дойду. Покрывать вздумали. Ась?

Буен Ипат во хмелью, зело буен, не прекословь, прав с ним не будешь, а уж если про справедливость заговорит, то лучше в сторону отойди.

Под старость прославился Данилыч как волчатник. Для серых он действительно грозой стал. Ежегодно премии отхватывает за их шкуры. И колхоз свой пай выделяет: отару старик бережёт. Покоя не стало от волков. Пришли откуда-то с оленями, да и прижились тут. Вчистую фермы опустошать начали. Мериносов давят под осень.

Несмотря на чудачества, Почитают в деревне Данилыча, прощают ему и грешки, вроде выбитых в правлении стё-

кол, стрельбы из двустволки на улице. Чего, мол, с пьяного спросишь. Проспится — одумается. Только страх наводит, а так ни-ни...

Тянулась за старым Ипатом глухая молва, будто на руку нечист, да не пойман — не вор. Мало ли чего не наговорят. А в тюрьме бывал. И сам не отрицает. В первые годы колханизации против колхозов шёл. Без дома его оставили и сунули в отдалённые места. Бежал оттуда, в лесу жил, покудова амнистия не вышла. Сам вышел, хвалился после: «Выкупили, голодранцы? Ипат не пропадёт!»

Образов он в избе не держал, входя в чужой дом, ног не обтирал, не крестился по-староверски, не говорил «мир дому сему», некрещёным слыл, но каждый по-своему живёт, у каждого своя боль, свои причуды.

Уходя из правления, он похлопал громадной, покрытой густыми волосами рукой по карману брюк:

— У Павла остановился, корреспондент?

— У него.

— Не задерживайся тут долго-то. Потолковать мне с тобой надо бы сурьёзно. Я там подожду.

И мне давно хотелось заглянуть в дебри его души, на тёмные ельники похожей. Видал я Данилыча разным — и плачущим навзрыд, как ребёнок, и бьющим посуду, и тихим, словно исповедоваться пришёл.

— Я сейчас занят. Давайте встретимся после обеда. Тогда всё, что нужно, обговорим,— сказал председатель.— А сейчас действительно сходите-ка, послушайте старого Варнака, язык у него как на шарнирах, не заскучаете.

И я пошёл к Машенцеву, сбросил куртку в кухне и остановился в нерешительности, услышав голоса в горнице.

— ...уехал бы ты куда-нибудь,— говорил лесник.— Избавил бы меня от поклонов. Век должником буду.

— Не отмольши, Пашка, грехи свои и не старайся напрасно. Одной верёвочкой мы с тобой связаны.

— А если выложу? — они замолчали, когда я переступил порог, и вместе придинули табуретку поближе к столу.

— Садись. Мы тут о своём толкуем,— хмуро сказал лесник.— По-стариковски. По-родственному.

* * *

Странным было это родство. По-разному судачили о нём

люди. Нет-нет да и теперь скажут: не ждали добра, так оно и получилось. Не зря Матвеевна, бессловесная, покорная мужу, войной на него пошла, когда услышала, что решил Павел Фатину за Финогена Ипатыча выдать. Не такого жениха хотелось ей иметь для племянницы.

Светлая, как утренняя зорька, девчушка и разбитной парень, с места на место перелетающий, больше всех любящий заводить бузу на деревенских гульбищах, когда молодёжь собирается с лесоучастков дома. То ли в отца пошёл, то ли перенял выходки пришлых людей, то ли играл в нём избыток сил — кто знает, кто скажет? Не было спокоя деревне, пока Финоген гулял по её улицам. Раньше здесь и замков не держали на дверях, и тёмной ночью не боялись пройти по деревне. Мог, правда, звери из леса заглянуть, так сам он на человека не кинется, у него тоже понятие есть. А если и бродят слухи, так они чаще преувеличены. В каждой деревне есть Ивановны или Кузьминичны, заменяющие телеграфное агентство, которые знают всё и вся вплоть до того, что у кого в сундуке лежит, кто о чём думает.

А Финоген начал нож за голенищем носить, окна бить, спалить Спиридовонку грозился. И кто знает, чем бы всё кончилось, если бы Фатина не бросила его, не уехала куда-то на время. Покрутился он и следом подался. В экспедицию, слышали, пристроился, много их по лесам в наши дни бродят; слушок прополз, будто посадили его, но Ипат помалкивал, писем Финоген не писал, и со временем всё забылось.

Только Матвеевна нет-нет да ворчала на старика, что зря сгубил девку. Жизнь Фатины и без того трудно сложилась. Отец с войны израненным пришёл, но всё же семья держалась. Пятеро их было. Всё бы на своё место встало, да беда нагрянула. Ушёл отец полесовать, да так и не вернулся. Сразу не хватились, а когда начали искать — снеги выпали. Исчез человек. А беда, как известно, одна не ходит. Вскоре после исчезновения отца сосновой на лесоучастке придавило мать. Пролежала она в больнице до весны, да так и не встала. Старших в детдом определили, а Фатина росла у Матвеевны. Как у матери жила. Расцвела лесным пионом всем на удивление.

Жалела Фатину старуха, не могла про её свадьбу забыть, что была сыграна через несколько лет после смерти родителей. Старик сам решил, невесте лишь сказали об этом.

Поплакала она, да что поделаешь — не первая, не последняя. Дядя ей вместо отца, мать наказывала слушаться его, плохого не пожелает. Матвеевна было супротив пошла, но куда ей.

— Слово дано,— отрезал Павел жене, когда пробовала отговорить.— Как после этого людям в глаза смотреть станешь?

— Слово, слово, а раньше чего думал, бесстыдник, пара ли она Финогену?

— Хватит, расквохталась. Без тебя знают. У баб волос долог...

Погуляли дни три в Покров, погудели мужики за столом, поплакали бабы, вспоминая свою молодость, поутирали слёзы подружки Фатины, и на том дело кончилось.

Дядя отвёл молодым половину дома, да пустует она давным-давно. Фатина к старикам вернулась, а о муженьке её и по сей день ни слуху.

В доме с резными наличниками, с крыльцом, похожим на веранду, всё блестит, всё на месте. Стоит тут какая-то тёмная тишина, которая появилась здесь после смерти Матвеевны, опутала она все углы, заставляет думать: злой рок висит над этим домом.

С лесником мы давно знакомы. В Спиридовонке бываю нечасто, но неделями живу с ним в избушке, стоящей на устье Нерицы.

Я люблю весновать там. В светлые майские ночи, когда на Печоре шумит ледоход и вода заливает поймы притоков, под гвалт летящих на север утинных стай чего не передумаешь.

Кроме приезжающих на день-два охотников, живут в избушке обычно два старика, два друга. Птицу постреливают, рыбку пущальницами ловят, дровишки собирают, чтобы сплавить после в село. Желающие купить всегда найдутся. Другим в наши годы село стало. Полно в нём людей, которые и топора в руках не держали, а печки-то надо топить. Учителям, медикам — льготы. Бери — сельсовет заплатит. Вот и договариваются заранее. Милое дело послушать их, когда друзья в ударе бывают. Мать лесника, я её чуть помню, знаменитой вопленищи слыла, жила этим. От неё, наверно, перенял Павел память на бывальщины. Затянет — весь вечер прослушаешь. А Вокуев — тот всё шутки-прибаутки сыплет.

А то прошлое вспомнят, как за одной красавицей след тропили, чути не на всю жизнь рассорились, сватались тайно друг от друга. За третьего вышла. Ни сын кондового хозяина, ни бессребреник Вокуев не пришлись ей по нраву. Залётный сокол из пароходских за собой увёл.

Вокуев и в старости не растерял молодого огоночка в душе, любил заводить Павла, который всегда ложился ближе к стенке и печке, перед сном жаловался на боль в пояснице, ворчал на приятеля: «Табашник, вышел бы из избы, там бы куррил!». Егорыч, покашливая, начинал « заводить» дружка:

— Поясница, баешь, болит, Пашка? Гдей-то ты больно прихватил? На сплаве, бат? За советскую власть, бат, воевал? В охране, бат, был? Это мне, бат, загибаться, а ты ещё столько проживёшь. Всю жизнь воду мерил да делянки отводил...

Всё это было мне знакомо: не раз был свидетелем их шутливых перебранок. И только однажды услыхал от стариков непонятное.

— Клавка-то говорит, будто на Середней могилу виде́ла, — сказал Вокуев. — Крест, бает, на ней из еловых лап поставлен кем-то. Посмотреть бы. Не слыхал?

— Брешет, паскудница. Верь ей. Было б такое, сразу бы растрезвонила. Всей деревней мужика искали. Я уж куда ни заглядывал. Медведь где-нибудь задрал. Любил мужик в одиночку на зверя ходить, вот и нарвался, Царство ему Небесное. Гордец был, ни с кем знать не хотел.

— Но и охотник, каких больше не видывали, — ответил Вокуев, — может, Фёдор только в пару сойдёт.

«Не про Никифора ли речь ведут?» — подумал я, но спросить не решился.

— Что так, то так, — перекрестился лесник. — Не к лиху на ночь был помянут покойничек.

Сейчас, сидя за столом рядом с Ипатом, я почему-то вспомнил про тот разговор и почувствовал, как незримые нити протянулись от него в это зимнее утро.

— Ты мне вот что скажи, корреспондент: когда нас, охотников, людьми считать будут? Я летось волчье логово разрыл. Премию от государства получил за хвосты, а колхоз отвалил по рублю с барана. Волк-то небось побольше бы соожрал. Ась? — Варнак покосил шалыми глазами, дёрнул

бровью. — Бригадир-то, видел, как отчихвостил меня. А за что? За правду. Не любят её в колхозе. И волков искоренять им, значит, не резон. Думаешь, не знаю, сколько на зверя списывают. Живёт кто-то.

Начинался старый разговор, я решил отмолчаться. И в этот раз не смог заглянуть в душу Данилыча. И хозяин тоже молчал. Смурым что-то был Павел Алексеевич. Поспорили они, знать, о чём-то до меня. Но это дело ихнее, мало ли чего не бывает между родственниками, сами разберутся. Жалко мне было, что с Фёдором не удалось встретиться. Где-то бродит, как удача? Я об этом гораздо позже из его рассказа узнал.

* * *

С нелёгким сердцем уходил Фёдор в свои угодья, что раскинулись на многие десятки никем не мерянных километров к югу от Спиридовонки, там, где в ясный день чернеют отроги седого Тимана.

Обидели его недавно, и где — в правлении колхоза. При всём народе чути ли не тунеядцем объявили. Не было такого и не будет, чтоб Фёдор на чужой шее сидел. Нрав у него не тот. А вот, поди, взбрело в чью-то еловую башку, что промысел — стариковское дело, а тут мужик в самом соку по лесам шляется, управы на него не найдут. Зря обидел председатель Фёдора: договор сельпо бригадир по его указке, с его согласия подписывал, выделил Хозяинова охотнику, хотя он давно и не числился в артелях. Не чужой он колхозу человек, хотя и живёт не так, как все. Насчёт лёгкой жизни да длинного рубля говорить не приходится. Походил бы председатель сам по лесу, потаскал бы на себе капканы, поискан бы зверя да пожил бы с местичишко в избушке сам с собой — другое бы запел. Трудов в путьки немало вложено, заботы они требуют, в упадок вот пришли, а рук и времени не хватает.

Но где понять это человеку, который в деревне без году неделя? Да и сверху на него тоже жмут: молоко, мясо подавай. На этом теперь хозяйство держится. А людей где взять? Да ещё укрупнение боком обошлось. Хорошее дело, да не ко времени.

Хозяйство в Спиридовонке маленькое, но держалось крепко. Летом, начиная с Петрова дна, все выезжали на се-

нокос, а зимой в деревне управлялись женщины. После того как отменили выходы на сплав и лесозаготовки, мужики было в основном переключились на пушной промысел, исконный в kraе. Но вскоре колхоз перестал выделять людей на охоту и непривычные к другой работе мужики начали потихоньку выпрявлять в сельсовете справки для получения паспортов, а кто и так обошёлся. Большинство в тундру подалось: налов песца, на сёмужки тони.

А Фёдор остался. С хлеба на квас семья перебивалась и всё же держалась промысла, не хотелось ему бросать родные места.

Поднялся Фёдор, когда петух первый раз прокричал, и принял самовар греть. Жена проснулась, да и не спала, наверно, тоже. Разве уснёшь после таких новостей, что вчера соседка принесла? Присела Марина рядом с мужем, вздохнула, заговорила вполголоса, чтоб детей не потревожить:

— Послушал бы, что в деревне говорят. Все люди как люди, а ты...

— Каждое полено слушать, что за жизнь пойдёт.

— Нас пожалей. Часто ли дома бываешь? В год три месяца не насобираю. Дети растут. А тут ещё наговоры.

— Шла бы ты из своего ларька на ферму, лучше было бы.

— Уедем к нашим. Ты на работу устроишься. Я в магазине буду...

Фёдор молчал. Что жене ответишь, если в домашнем кругу он и впрямь редкий гость? Настоящий дом у него, как у отца, как у деда, бывало,— тайга. Она весь их род поила и кормила.

— Ждать скоро? — жена поняла, что уговаривать напрасно.

— Недельки через две. К Середней подамся. В избушке всё есть.

В это утро Хозяинов собирался на промысел долго и, уже встав на лыжи, задержался на какую-то минуту, обняв левой рукой вздрогивающие плечи жены, как-то по-новому, ласковой, чем обычно.

— Я у тебя спросить хотела...

— После,— отмахнулся он.— Связалась с этим ларьком.

— Неспокойно на сердце. Кажется мне... — но Фёдор уже не слушал, подтягивая ремень на лузане.

Деревня ещё спала, лишь кое-где мелькали в полуза-мёрзших окнах огоньки, мычали в тёплых хлевах коровы, спросонья тявкали собаки.

— Не стой, простишь. Куда я потом без тебя. За ребятишками смотри,— и он исчез в морозной полумгле.

Зимний день короток. Около девяти забрезжит, к десяти рассветёт, а часа через два птицы с деревьев в снег повалится на ночлег. Белка — и того раньше. К полудню кончена жировка, на боковую пору, в гнездо, сделанное где-нибудь в развилке старой ели из шакши — ползучего древесного мха. Попробуй найди её там. Зорька выручит. За такую собаку и корову отдать не жалко. На земле далеко чует, а когда белка в гайно спрятаться вздумает — на каждую лесину глазом косит, к ветру принохивается. Белку тоже запросто не возьмёшь: с кормёжки она не прямо бежит, а с дерева на дерево перескакивает, путает следы.

Мало голубых шкурок сдал в сельпо Фёдор этой зимой. Так можно и без штанов остаться, а не то что сарафан жене купить. В борах совсем белки нет, какая есть — в ельниках держится. Тяжело в чернолесье брать её. Да и холода мешают: отсиживается белка в дуплах.

И сегодня сколько отмахал, а всего две добыл. Где уж тут о премии мечтать. Как бы только на договорную сумму вытянуть, чтоб не стыдно было людям в глаза смотреть. А ведь водилась белка в его угодьях. В каком же это году её особенно много было?

В начале войны. Из-за Тиманского кряжа, с древних полуразрушенных гор, как с неба свалилась она тогда в рады — болотистые равнинные места, где и лес-то не ахти какой: редкий, всё больше мелкий ельничек, ольха да травы. Недолго тут задержалась — дальше двинулась, к тундре... Говорили, не к добру это, и надо же совпасть: война летом началась. Запричитали вскоре бабы, получив первые похоронные, которые в то время почему-то извещениями называли. Заголосили на пристани гармошки ребят чуть постарше Фёдора, вчерашних школьников, ещё не одетых в шинели, но уже солдат. С припухшими губами и синими подглазницами ходили Федины сверстницы в те дни. Проводы превращались в свадьбы. Сколько девок так и не дождались своих любимых, только в памяти, в сердце где-то остались короткие, как минуты, две-три ночи, да ещё первенцы, ныне

взрослые, удивительно похожие на отцов, живут на земле.

А белка шла, и не было видно конца переселению. Даже река не держала. Много её тогда погибло. Безветренных дней у нас почти не бывает, а белка плывёт, пока хвост сухой. Потому и держит его столбиком. Чуть намок — гибель зверьку, завертится на воде, пока, кружась, не выбьется из сил и не захлебнётся.

В ту осень Федя Хозяинов ушёл из школы, да так и не вернулся: отца заменили на белкованием. «Два десятка проскочило... Когда?» — его размышления прервал голос Зорьки. По голосу можно догадаться: лает не на белку. «Неужели кунница? — подумал.— Следов не попадалось. Да и откуда ей взяться тут?»

Он посмотрел на часы и ускорил шаг. Светлого времени оставалось в обрез, самое большое — с час.

Да, это была прищкая кунница. Судя по следам, она искала дупло. Местная не станет столько крутить, память у зверька цепкая, каждую корягу, каждую гнилую лесину помнит. «Ничего зверюшка!» — Фёдор посмотрел на следы и ускорил шаг. Он шёл на голос Зорьки. Лыжи, обитые оленьим камусом, легкотно скользили по снегу, тормозя на подъёмах. Собака оказалась ближе, чем предполагал. Встревожился: «Как бы снег не повалил, звук глухнуть стал».

Зорька — юркая чёрная лайка с белым пятном на груди, увидев хозяина, замолчала. Он не спешил. Все следы осмотрел, круг сделал, прикидывая: «Пришла — ушла...» А Зорька глаз с него не сводит, на старую ель взлаивает, куда кунница вроде не забегала. В сторону собаку отозвал, но она снова к лесине и умоляюще на него смотрит: мол, чего тянешь, уйдёт...

Фёдор вынул из-за широкого кожаного ремня топор с большой медной пряжкой, какие носили наши деды, весом с полкило, стукнул обухом по стволу. Зорька оказалась права: простукивалось дупло. Свалил дерево. Собака около него крутится, отверстие у самой вершины нашла. И Фёдор слышит, как зверёк в дупле мечется, чувствует, что в западню угодил, но не хочет покидать убежище. Пришло раскалывать ель пополам вдоль ствола. Пока пазил комель — проглядел. Как птица, взлетел зверёк на соседнее дерево. Зорька не успела даже рта раскрыть. Но и уйти кунице с дерева не дала, придержала там на какую-то минуту. Сухо щёлк-

нул выстрел, и забился на снегу бурый, с густым пушистым мехом зверёк.

Легко достался. Иной раз по нескольку суток следом идёшь и ускользает, можно сказать, из рук.

Пока Фёдор снимал шкурку — стемнело. И тут откуда-то налетел ветер, словно ждал этой минуты, качнулись вершины елей, стоящих на краю большого оврага, закружились хлопья снега. Уже в полной темноте Фёдор свалил ещё одно дерево, сдвинул лесину вместе, разжёг костёр. Сухостой горел легко, костёр бросал в темноту снопы искр и причудливые, изломанные летящими сверху снегом, тени.

Поужинав прихваченной из дома провизией, Хозяинов подсёл поближе к огню, размотал подвязки тобоков — меховых сапог, похожих на двойные чулки, лёгких, тёплых, удобных для ходьбы в лесу. Ногам стало послабней.

Он опустил уши шапки и задумался. Снова вспомнился разговор в правлении. «Выселить!» За что, спрашивается? Сказал тоже. Промысел разве не дело?

«С какой стати! — говорил он в правлении и раньше, гораздо раньше.— Весной и летом я со всеми на сенокосе работаю — кошу, зароды мечу, силосую. И ещё как!.. А пришло время промысла — в лес... Но и летом надо там побывать, приготовить всё — угодья тоже приглядеть требуют. Всю жизнь этим занимаюсь. Какой же я чужой?»

Но как-то летом он хотел сделать новые плашки для ловли белки, пасти — на птицу. Спросил председателя, а тот: «Нельзя!» Всёкил Фёдор, поругался в правлении, мотанул в избушку. А вскоре исключили его из колхоза, хотя минимум трудодней он всегда вырабатывал. Не поняли. Время краткое было. Тогда-то и началось отчуждение. А разве колхоз пострадал бы от того, что он на неделю в тайгу сходил? Наверстал бы. Промышлять-то никто за него не станет. Да и по-старому всё осталось: как со всеми робил, так и робит. Какой же он чужой?

Но в колхозе смотрят по-другому. Так и заявили: с промыслом пушного зверя надо кончать, ничего он колхозу не даёт. Да и не спрашивают за него, не мылят шею в районе, сводок не требуют. Специализироваться, мол, надо. Забыли, что Фёдор давно не мальчишка. Скоро сорок стукнет. Передовиком считали, сколько раз премировали, на ВДНХ от района выдвигали, в Золотую книгу там записан, в газе-

такх портреты печатали. Какой же он чужой, если, было время, всю деревню кормил? Забыли!.. Служащим тогда по пятьсот граммов черняшки выдавали, а иждивенцам да колхозникам того меньше, и то наполовину картошкой заменили, а она мёрзлая. Пушнина же отоваривалась: на каждый старый рубль по двести граммов белой муки падало, кроме того, чай, сахар. Богатство!. Война была!.. На золото пушнина шла. Не это бы вспоминать, но обида берёт, что добра люди не помнят.

Люди? Так ли? Может, бригадир только? Память у него коротка, отец всю войну пекарем на лесоучастке проработал. И сейчас в доме ковры висят, купленные за хлебушко. Бригадир-то и сбивается с толку председателя...

«Лешак с ним,— сказал себе Фёдор.— Долго Ванька не удержится. И бригадир тоже. Вкалывать в колхозе надо, а ему это не по нутру. Да и колхозники раскусят, что за выдвинженец. Новый-то председатель с головой. Кумекает по-своему. Трудно ему. Людей-то мало... Лешак с ней, с обидой... Вот с куницеей что делать?»

Восьмую кунищу добыл он в этом сезоне. Мог бы и больше, да лицензий в кармане нет. Не поймёт, что за порядки такие пошли в сельпо. Сколько раз сам в райцентр ездил, спрашивал. Ничего вразумительного. А время идёт. «Промышляй,— говорят,— а там оформим!»

Раньше как было — вышел из леса, а заготовитель уже тут как тут. Выкладывай, Фёдор Степанович, что принёс, что в лабазе хранишь, спрашивай, что надо, и получай денежки. Теперь самому каждый раз надо в район выезжать. И то часто без пользы. Капканы никудынные завозят — пружины на морозе лопаются. Самому приходится перед сезоном ковать, по-своему переделывать, а на это тоже время надо, и заработка нет. Раньше колхоз привадой снабжал, теперь и тут отказ. Зароют какую-нибудь дохлую клячку, а нет чтобы чуть пораньше в лес увести. Глядишь, и волков поменьше стало бы. Ипат их навострился петлями давить, да только как... Фёдор не доносчик, жалоб писать не станет, но не дело это — лосей на прикормку изводить. Есть ещё сохатые, но чаще стороной обходят Спиридоновку, чуют неладное, дальше в предгорья забираются. Говорил Ипату: брось, да разве проймёшь, ему только бы лишний рубль сорвать, премию отхватить, а как — не всё ли равно?

Хорошо, хоть место сменил Варнак, перестал в родовые угодья Хозяиновых соваться, а то было хозяинничать начал, как в своём доме. Лес — он, конечно, общий, но если каждый будет делать в нём что захочет — быстро опустошат. Деды правильно рассудили: кто первым пришёл, срубил избушку, тому и пригляд держать. Фёдор как? Он ещё с весны знает, сколько птицы токовало, каков приплод будет, есть ли белка, сколько зайчишек водится. В то время ружья не поднимет. В лесу год от года шумней становится. Экспедиций в Тимане много, люди в них разные, не каждому бы ружьё давать, да кто усмотрит. А некоторые, даже в деревню придя, первооткрывателями себя считают, а местных жителей чуть ли не за дикарей. Того не подумают, что леса эти давно обжиты, веками люди в них обитали, на судьбу не суетя. Сколько избушек и теперь стоит, пустует правда. А сколько развалилось, согрело...

А леса ещё богаты, можно промышлять и тут, не только в тундре. «Что там делать — голое место, зверь сам в капканы лезет, а тут умишком пораскинь, сумей обхитрить. В лесу промысел трудней».

Давно известно: с плохим настроением лучше в тайгу не ходить, его надо оставлять дома. Тайга ревнива, она нестерпит, чтоб при ней думали о ком-то другом.

Сколько раз ночевал Фёдор у нодви в метель и лютые морозы, сколько раз спал в куропачьем чуме, вырыв ямку в снегу, и всё сходило. Но раз на раз не приходится. Длинна зимняя ночь в печорской глухомани. Пока рассветёт, от сухих лесин останется только горстка пепла. Фёдор просыпался, сдвигал поближе концы деревьев, чтоб костёр не угас, посматривал на небо.

Снег всё падал, крупный, липкий, но ветер заметно стихал. Сон одолевал Хозяинова. В голове крутились какие-то отрывочные мысли... «Надо, наконец, выяснить: кто он? Пушнина принимает сельпо, а людей на промысел выделяет колхоз. Хозяйство от этого дела ничего не имеет. Раньше всё через колхоз шло, а теперь? Завозили продукты в избушки, помогали весной выбраться из лесу. Теперь всё на себе ташить, всё в мешке. За десятки километров, а порой и добрую сотню. С осени ещё так-сяк, а зимой...»

Откуда-то издалёка донёсся до охотника жалобный вой

Зорьки. Он открыл глаза, но они ничего не видели, хотел встать, но не мог. И снова выла собака. Снова он пытался поять, что происходит, пока не почуял нутром: замерзает. Руки уже не двигались, ноги оцепенели. «Встать надо! Както встать!» Свалившись на бок, Фёдор с трудом перевернулся на спину, затем на живот и покатился по склону оврага, вниз, где снег слежался и держал без лыж.

Зорька не понимала, что случилось с хозяином, почему он молчит и катается по снегу. Каким-то чутьём догадалась: виной всему мороз, который ударил под утро и разбудил её, щипнув за кончик носа.

Приподнявшись на корточки, омертвевшими пальцами Фёдор искал в кармане ватной куртки спички, нашёл их, дотянулся рукой до шашки, свисавшей с низкой кривой ёлки, отломил несколько сухих еловых лапок. Вспыхнуло синеватое пламя... Пальцы рук зашевелились, что-то дрогнуло в лице охотника.

Через некоторое время, когда остатки лесин были снова сдвинуты вместе и над тайгой поплыл в морозное небо, к звёздам, горьковатый дымок одинокого костра, хозяин погладил собаку по голове, бросил ей кусок мёрзлого хлеба:

— Спасибо, Зорька!.. Выручила!..

И снова лыжня тянется в глубь лесов. Собака, изредка возвращаясь к хозяину, кружит, приближаясь к Нижней речке, откуда начинаются сплошные вырубки.

Эта маленькая, промерзающая в суровые зимы до дна речка, мелеющая год от года, ещё недавно весело шумела в сосновых борах. Но пришли люди, и остались после них только пни. Отзвенели солнечные боры, отпели в них синицы, ушли куда-то дикие олени. А когда-то новый лес поднимется, да и поднимется ли, если даже семенников не оставили, вчистую свели его?

И Фёдор к этому руку приложил. Вспоминать не хочется, но как не вспомнишь, если Нижняя прошла через его сердце, все дни, прожитые на земле, в один узелок связала.

В то время по вёснам людей на сплав отправляли. В деревнях только старики оставались. И Фёдор не раз получал повестки из сельсовета. Помнит, пришли однажды на Нижнюю, где затор образовался. Присел он у речки перекурить и видит: чуть пониже его девчушка в телогрейке и резиновых сапогах мучится. Реку всю лесом забило, в несколько

этажей он лежит до самого дна. Оставлять нельзя: вода уже на убыль пошла, сутки-две — и тогда «караул» кричи. Снега в наших лесах лежат долго, зато тают быстро. Только успевай справляться. Смотрит Фёдор, плохи дела — деревья на берегу с корнями река выворачивает, куски берега отрывается, всё к затору тащится, вода на глазах поднимается. «Прорвёт, — подумал парень, — силища-то какая! А эта тонколицая с рыжими пятнышками на щеках и багра в руках держать не умеет. Первый раз на сплаве, верно».

— Уходи! — кричит ей, но увлеклась, не слышит, знай, ковыряет багром в брёвнах.

«Сучком тебя по голове стукнули, что ли!» — выругался про себя Хозяинов и кинулся к ней. Только успел за руку схватить, оттащить, только-только на берег выскочили, как затор на дыбы встал, зашевелились брёвна и сплошным потоком ринулись вниз, уже наполовину обскобленные водой.

— Ты того? — спросил Фёдор. А девчонка смотрит на него с виноватой улыбкой, так, видно, и не поняв, в чём дело.

— Стинута захотела? Это недолго! — Фёдор хотел ещё добавить, что дураков на свете и без них много, но загляделся на неё и забыл, зачем пришёл сюда.

Брови у незнакомки не по-русски тонкие, изогнутые. Чуть-чуть скуласта. Губы — как перезрелая брусника. Эта тонколицая, сама не думая о том, потеснила в сердце охотника ту, с которой он дружил раньше.

Была у него одна любава в юности, на руках её носить был готов. Из лесу к деревне на крыльях летел к ней. Не забудет Фёдор, как она сказала однажды: «Что теперь делать-то нам, что делать? Ведь супротив дяди не пойдёшь. Грех это».

— А к немилому идти не грех? — отрезал он.

— Пришёл бы, поклонился, может, и уступит старик.

— Не гожусь я в принятые. Чтобы всю жизнь в работниках ходить? Нет! Мне их добра не надо, в нашем роду никто на чужое добро не зарился. Решай: или ко мне, или... — он не договорил.

— Куда ж я их-то дену? Жалко ведь.

— Ну, жди тогда, когда тебя пожалеют...

— Как же супротив пойдёшь? Мать наказывала слушаться. Худого не пожелают...

«Э, да что вспоминать, когда давно оженился, когда два сына растёт».

С Нижней речки, где добыл две куницы, Фёдор перемахнул на Середнюю — всего каких-то тридцать километров через заметённые снегом болота, вырубки и гнилые ельники. Там зверя не оказалось. Уже не в первый раз хозяин угодий подмечал этот непредвиденный уход зверя в другие места. В то, что его совсем не стало, Фёдор не верит. Говорили же, будто зайцев совсем выбили. А при чём тут «выбили», если причина в другом?

До войны, ёщё мальчишкой, они вместе с отцом возами сдавали их в сельпо. Стреляли по первой пороше, ловили в капканы и петли, даже в сети загоняли. Он не считал это безжалостным. Человек — хозяин! Только, говорил, подлецом быть не надо. А разницу не трудно заметить. Один берёт сколько можно, второй — всё, что попадёт под руки.

Тогда зайца можно было брать: в несметном количестве водился он. И вдруг исчез. Отец говорил: «За Урал ушёл, хворь какая-то на него напала». Может, и так — тушки беляков находили на лесных тропах часто, когда начинал таять снег. Попробуй угадай, с чего гибли косые, если на район один ветврач и сам он мечется по фермам, как испуганный заяц. Там телёнок пал, там ярка копытца подняла, там свиноматка дух испустила... А времена строгие были, ох строгие. Тут не до каких-то ушаков. И дело это охотоведов, а не ветврачей. Но прошли годы — и снова косой появился. Всё больше его в угодьях. «Может, и прав отец,— думал Фёдор,— лес он знал. Следки-то все с востока тянутся, пришлый ушкан. Жирового сразу узнаешь — он больших переходов не делает». А вот с чего рыб тронулся, куда он путь дергит?

Проснулся Фёдор как-то в своей избушке на Нижней, слышит — крылья хлопают. Выглянул за дверь, а напротив, за речкой на ветках ольшиника, словно серые шары кто понавешал. Качнётся ветка — и взлетит шар... Рябчики!. За утро сотни три прошло. Фёдор даже ружья не поднял. Заряды у него крупные, не на рыбаческие, а лабаз набит по крышу. К чему птицу изводить?

На Середней и того нет. Ушёл рыб куда-то. И ягода вроде осенью была, и снег вовремя выпал. Так что же стронуло птицу с места? Снова загадка.

Лыжи легко скользили по снегу. Вот и Золотой ток. О нём Фёдор только слыхал, а хозяина тока никто не знал. И теперь по осени видны на сухом болоте низкие плетни из колышков. В узких проходах расставлялись силья. Сколько же птицы добывалось тут, куда вывозилась она? Всё туда же, в Архангельск, по старому тракту, что тянулся на сотни вёрст и зарос ныне.

Косачи здесь и теперь держатся большими стаями. «Надо бы путик проложить,— подумал Фёдор,— пасти понаделать, но далековато, наловишь птицы, а вытащить как?» За долгие годы жизни в лесу он привык рассуждать вслух. Если посмотреть со стороны, то кажется: не по безлюдным местам идёт человек, а на прогулку вышел, отдохнуть после работы.

Ровным шагом, чуть пригибаясь под деревьями, он прокладывал лыжню к Середней. Заплечный мешок лёгок. На место всё с осени завезено на лодке, ни к чему тащить на себе продукты...

Перевалив через водораздел, Фёдор стал внимательно присматриваться к лесу, стряхнул снег с шапки, сунул в карман лузана рукавицы, для чего-то подкинул в руке ружьё. Дорогу он знал, нашёл бы избушку и с закрытыми глазами. Другое высматривал, к другому прислушивался.

Зорька, давно работающая на хозяина, на лыжню высекакивала редко. Ей было хуже. Снегопад, что прошёл перед этим, испортил ей настроение. Наскочив на птички наброды, почувяв запах птицы, лайка, тихо поскучливая, с головой зарываясь в снег, шла на него. Уже дважды поднимала глухарей, но они тут же улетали.

— Ходовые! — и Фёдор провожал их долгим взглядом.— Этих собака не держит. Пасти нужны. Можно бы взять. Переётлы знатные...

Спуск в долину Середней был незаметен для глаз, но охотник знал: до избы уже недалеко...

Сезон ещё впереди. С лайкой, правда, уже не пойдёшь, но для самоловов самое время начинается. А их у Фёдора много. На заброшенных дедовских путниках понаделал новые пасти. Веками испытанная ловушка. До глубокой замети птицы и зверя сторожит. Укараулит. Не это беспокоило Фёдора. Из дома он смурью вышел.

— Ты мне, папка, железные сапоги купи,— сказал за ужином старший сынишка.— Мои прохудились. И катанцы

тоже. Шлёндаю — пальцы из носков... А железные бы — во! Со звоном. И сносу нет!

Никто не учил. Сам додумался. Видит, что отец концы с концами не свёдёт. А Фёдору и впрямь туда. Одному дом срубить не под силу, родительский в развалюху превратился. Копейки считают. А тут ещё в семье нелады начались.

— Ты брал спирт? — спросила как-то жена, когда он от соседа под хмельком явился.

— Какой ещё там спирт?

— Чтоб провалиться тебе... Чтоб чирей у тебя на мягкем месте вскочил,— накинулась Марина,— налил шары и доволен, а я расхлёбывай.

Так и не понял Фёдор, в чём дело, а когда на трезвую голову спросил об этом, Марина и разговаривать не стала.

— Нет так нет,— постучал Фёдор топором на срубе до темноты, а там окликнул его Ипат:

— Голова не трещит, Федька?

— Побаливает!..

— У меня есть немножко. У Данилыча всегда есть...

Жена на этот раз не ругалась, молча ушла в другую комнату. Утром, ещё до рассвета, он был уже в лесу. Так и не получилось разговора.

Это с осени, а зимой совсем дома разладилось. И такой, и сякой Фёдор: и от работы отлынивает, и детей не жалеет, и жену извёл. Как-то не сдержался — дедовская кровь в голову ударила — припечатал... На бабу кулак поднял. Не простит себе такого. Но и его понять надо. Как могла она подумать, будто он ключ от ларька у неё тайком берёт, спирт из-под прилавка волочит? Куда он ему? И раньше Фёдор причащался лишь по праздникам, и теперь не особенно в рюмку заглядывает. Вместе с соседями разве: у кого такого не бывает? Грех — напиться, а если угодают, да не выпить — двойной: человека обидишь. Не нами это заведено, не нам кончать. Но чтоб из ларька тайком брал — взбредёт же в голову... Уже и по деревне начали болтать, брякнула, знать, кому-то.

Только один человек не поверил. Только один исподлобья, но сочувственно глядел на Фёдора, но тот человек для него — в прошлом. Возврата не будет.

«А может, я сам тогда оплошал, может, посмелей надо было? — от этой мысли, что приходила к нему уже в кото-

рый раз, Фёдору становилось не по себе.— Э-э, что там. Судьба — индейка, жизнь — копейка. Ходи теперь, сиди как сыр, на пороге мни шапку».

Тихо спускались на землю сумерки, в небе замерцали звёзды. Ничто не предвещало беды, только Зорька принюхивалась к воздуху, останавливалась, глядя на хозяина, обеспокоенно крутила хвостом и жалобно повизгивала. «С чего бы это собака встревожилась?» Он понял причину её тревоги, когда вышел к избушке.

Избы не было. Перед ним лежали припорошенная снегом груда камней от очага и остатки обгорелых брёвен.

«Как же это? — растерянно повторял Фёдор и оглядывался, словно кто следил за ним из ельников, окружающих знакомую поляну.— Как же это? Может, мерещится?..»

Избы не было. Заплечный мешок пуст. До дома — недёгкий дальний путь по целику. «Как же это? Кто?» Но лес молчал. Вступало в силу старое: закон — тайга, медведь — прокурор. Ему, этому прокурору, хорошо в тёплой берлоге, а каково человеку?

Наступил вечер. Остатки брёвен были сдвинуты в кучу. Топор знал своё дело — вскоре вспыхнул костёр. Фёдор повесил над огнём котелок, набил его снегом и уже спокойно начал обдумывать случившееся: «Не дотла сгорело. Ещё осенью, значит: ливень потушил. Сразу после моего отъезда, значит. Ничего, перетрём — перемелем...»

Он проснулся поздней ночью от знакомого до боли голоса.

«Берегись, парень. Плохо тебе будет!» — «Кто?» — «Я, Никифор, тебе говорю. Уходи. Они сделают... Они всё могут...»

«Никифор?» — и Фёдор неожиданно вспомнил: изба эта когда-то была поставлена отцом Фатины, он и сгинул где-то тут. Слухов много бродило разных, а так и не докопались до истины. Спустя годы сказал Фёдору про эту избу лесник дядя Паша. Нашёл её парень. Потолок прогнил, обвалился. Пришлось почти заново ставить её своими руками — расчистил, сделал сруб повыше, настелил пол, весной завёз тёску. Рассчитывал на годы... Без жилья тут много не напромышляешь. Половина пастей тут. Изба в лесу поважней, чем дом в деревне. Там и без него пока можно.

Фёдор, поджигивив огонь, стряхнул с плеч дрёму и усмехнулся: «Приснится же!» Но успокоиться он уже не мог до

утра. Всё казалось: чьи-то недобрые глаза наблюдают за ним из тёмной чащи. Но Зорька, свернувшись калачиком, спокойно спала у ног хозяина. «Ты спиши, а я чую: не к добру всё это. Не к добру Никифор о себе напомнил. Слыши, Зорька?»

Лайка подняла голову, навострила уши. Таким она хозяина ещё не видала.

«Лежи, лежи. Перетрём — перемелем...»

Кто считал глухоманные километры, кто знает, какой они длины? Это зависит от быстроты твоих ног, от ясной головы и сколько-то от времени...

Фёдор не стал возвращаться обратно, не двинул вниз по речке, хотя этот путь был полегче, а направил носки лыж через перевал к лесовозной дороге, где работали знакомые мужики. На третий сутки вышел к ним.

— С какой стороны несёт? — удивились они.— Эх, и длинные ноги у тебя, земеля. Ты, чай, не приболел? Лицом что-то спал?

— Закурить есть?

— Как не быть!

Давно не курил Фёдор, лет десять не крутил «козьей ножки». От первой затяжки в глазах потемнело, но не бросил цигарки.

— Пожрать найдёте?

— Спрашиваешь...

— Третий сутки без хлеба, без соли мясо осточертело...

— Занесло тебя, знать. За зверем, что ли, гонялся?

— Может, от него убегал.

Лесорубы непонимающе пожали плечами.

— Что в деревне новеньского? — спросил он, усаживаясь поудобней на тракторных санях, нагруженных брёвнами, когда машина тронулась с места.

— Всё по-старому. Финоген, правда, откуда-то объявился. Морду отъел — во! В унтах, куртка с замками, с кармашками, шапка с козырьком — не видывали такой. Чисто лётчик. Который день гуляет.

— Чего ему понадобилось? С неба, что ли, свалился?

— А кто его знает, откуда, чужая душа — потёмки. Бабу свою, говорит, посмотреть решил, как она честь блудёт.

— А Фатина?

— Не видно её что-то... Из дома не выходит.

Фёдор только теперь заметил, как медленно движется по лесной дороге трактор с нагруженными брёвнами санями.

Всё случившееся отошло на задний план, непонятная жалость к человеку, который когда-то был близким, охватила его. «Что с ней? Как она там?» И почему «когда-то»?

Я в это время уже возвращался в райцентр. Попутчик мне на этот раз попался немногословный, и тишина, окутавшая лес, нарушилась лишь редким: «Ну ты, сивый, шевели ногами. Чтоб тебе околеть!..» Ехал я с возчиком почты. Он и покрикивал-то в полусне, положив голову на мешок с письмами.

Снова скрипели полозья, потряхивала оглоблями лошадка, испуганно фыркая в темноте. Смягчило. Снег повалил. Он в долгой дороге убаюкивает. Я видел перед собой чёрные ельники, бродил с Фёдором по рассохам, где спят под снегом тетерева, мышкует лисица, обгрызает верхушки ивняка сохатый, но всё это было лишь во сне.

* * *

А в деревне гудела ипатовская изба. Кто только не был на гульбе, хотя в обычное время сторонились Ипата люди. Может, и заворачивали к нему из-за того, что опасались, как бы порчи на скот не нагнали, красного петуха над крышей ночью не подпустили. «Он всё может», — кем-то сказанное однажды приняли в Спиридоновке безоговорочно. Попробуй не зайди к такому, если приглашает, — до конца жизни своей жалеть станешь.

Но всему приходит своя пора. И родня по домам разбрелась. Остался в избе от гульбы по случаю приезда Финогена густой запах домашней браги да водочного перегара. Ипат кряхтел, в который раз подходил к кадушке с водой, опрокидывал ковш и снова ложился на широкую деревянную кровать рядом с сыном.

— Надолго? — в который раз спрашивал.

— Не думал ещё. Сбегал бы, отец, в ларёк.

— На что сбегать?

— Трёшка где-то была... Сходи.

Натянув штаны, сунув ноги в катанцы, набросив на плечи пиджак, Ипат рысью отправился в ларёк. Финоген, подставив голову под умывальник, фыркал, крутил шеей,

держал лицо в воде и, потряхивая сырьими волосами, хмуро поглядывал в окно. Это он называл американским способом приведения себя в чувство. Безотказно, говорит, действует. Ложкин, говорит, научил, друг, с которым на прокладке новой дороги повстречался. Через полчаса они, уже повеселевшие, рассуждали о своём житье-бытье.

— Скостили мне половину — за хороший труд. С дороги настройку перекинули, а там и всё сняли. Иди, сказали, Финоген, на все четыре стороны, работу предлагали. Страйка преогромная. Один цех на полкилометра растянулся. Но и вкалывать надо. И не разгуляешься: присмотр строгий. Вот и рванул домой. Заново за решётку попадать что-то неохота. А там это запростило.

— В колхоз собрался?

— Я ещё с ума не сошёл.

— И без них проживём. Я тут думал про тебя. Не пропадём, сынок. Чего не тянешь, аль не идёт больше?

— Когда не шло... Про бабу думаю. Не такой встречи ждал. Считал, поумнела, а вышло наоборот.

— В другую сторону поумнела. Не жалей. Было бы чем, есть кого...

— Мне другой не надо.

— Сам виноват.

Насколько же они были непохожи сейчас — отец и сын. Тот, чьих кулаков боялась вся деревня — широкоплечий, могутный, — растерянно мял пальцами папиросу. Старик следил за ним, прищурив глаза.

— Гляжу на тебя и диву даюсь: в матку пошёл, в покойницу, хотя силёнкой Бог не обидел. От меня только силу да норов взял. Да что толку от этого норова. Без ума не проживёшь, а его у тебя тёто-тио, — Ипат постукал пальцем по голове. — И отсидка не на пользу пошла.

— Она что-то знает...

— Забудь про неё. И знать ей некак. Тут другое. От Федьки всё... Любовь у них.

— С Федькой?

— Хотя бы...

— Я ему...

— И думать не смей. По-другому надо. Да и не залезал он ещё в твои угодья. Ты сам хороши: бабу улестить не можешь. Покаялся бы, в ножки пал. Бабы жалость любят.

— Не любит она меня.

— Полюбит всякая, да не всякого,— отрезал старик, брезгливо морщаась.— У тебя там осталось ешё?

— Надо посмотреть...

— Сбегай сам, а там завяжем. Не пропадёшь, чай, к отцу приехал, не на чужой стороне.

Финоген исчез, а Ипат уставился в одну точку и долго сидел не шевелясь. Не о сыне, о себе думал. Был когда-то и Варнак молодым, сыном первого хозяина в уезде. Только птичьего молока в доме недоставало. Да зашиб топором по пьянице чужую невесту, на каторгу угодил, не спасли ни деньги, ни дружба с исправником. Революция освободила, да не понутру она Ипату пришлаась. И с белыми, и с зелёными крутил под шумок, пока красные не прижали. Пришлось шкуру спасать. Замёл было следы, но, когда за колхозы ратовать люди начали, сорвался, снова за решётку угодил.

«Мне бы силу твою,— думал Ипат про сына,— разве так бы жил... Когда б не отец, не видать бы тебе Фатинки. Не баба — ягода. А что я Никифора порешил, так никто не докажет, счёты с ним старые были. Бог простит. Пашка что... Из него верёвку вить можно. Куста боится. Золотишко-то ещё до советов припрятал и сейчас на нём сидит. Знать бы, где скончонил...»

Тянулись цепкие руки Ипата к этому золотишку, но хитёр сосед: и выдав племянницу за Финогена, не проскасался о кладе. Простофилем прикинулся.

«А на Финогена надежда плоха — тряпица он, не в батьку», — старый Варнак махнул, как отсёк что-то, рукой.

На дороге, ведущей с подгорья, загудел трактор.

— Никак сосед на возу-то сидит? — Ипат бросил косой взгляд в окно. — Он.. Ничего ему не деется. Ну, гляди, ещё запоёшь...

Смутная тревога не оставляла старика. «Чёрт свалил тогда Пашку на наши головы. Заодно бы... Пока не сдохнет, того и жди — продаст».

Только трое в деревне знали тайну исчезновения Никифора: Ипат, его сын, тогда мальчишка, и лесник, случайно оказавшийся на месте убийства. И хотя Никифор приходился близким родственником Павлу, лесник все эти годы молчал. Только в одном нарушил уговор: поставил на могиле

крест из еловых лап, время от времени обновлял его, чтоб душа покойника, значит, не могла к людям вырваться.

И надо же было ему тогда оказаться рядом. Нож Ипата сработал чисто. Никифор даже не вскрикнул. Что у них произошло перед этим, знает только тайбола. Никифор-то первым председателем в колхозе был, да ещё этот голодранец Вокуев ему в помощники вылез. Из-за них и сел Ипат за решётку, десять лет отбухал. Сгинул Никифор без следа, а Ипат с лесником, как в молодости, заодно стали.

— Не породниться ли нам? — сказал однажды Ипат Машенцеву. — Твой товар. Мой покупатель. Ась? Так-то лучше... Не стыдно, бат, не из бесштаниной команды родители, всю жизнь в красном углу сидели.

Другого мужа хотел для своей племянницы Машенцев, не такого, как Финоген, но куда денешься, одной верёвочкой с Варнаком связаны. Шипики от ёлки недалеко падают. Финоген весь в отца. Порой леснику страшно хотелось показаться перед Фатиной, но как подумает, что под старость в тюрьму засадят, — язык отнимался.

«Тут ещё эта шлюха, Клавка, забрела куда не надо, — думал Ипат. — Виши ты, как сорока разоралась — “крест видела!”, и Пашка тоже умудрился. Бог, Бог... Был бы Он... Хорошо, Клавку сплавить удалось. Податливой оказалась. Вовремя догадался Ипат потолковать с ней, смазать ручку, чтоб убиралась вовсюси по-доброму. Уже четверо знают, а сколько догадываются. Породнились, а молодые меж собой трали-вали разводят. Жили бы как все крещёные — и деду конец. Знать бы тогда — и Пашку на тот свет, пусть бы там грехи отмаливал. Того и жди, что продаст».

Долго в этот день сидели отец с сыном, молча поднимали ромашки.

— Мириться тебе с жёнкой надо. Или заново жениться. Одно из двух. А работы полно. Экспедиция рядом: и денежки текут, и работёнка так себе — знай, держи взгляд за дизелем.

— Не выйдет у нас...

— Как не выйдет. Ты это брось. Брось, говорю, дурить. Шевелить мозгами надо. А с Федькой без тебя управлюсь. Выживем. Хлипок передо мной. Ипат дело тонко знает.

Старый хищник обучал молодого, и тот, молодой, начинал шевелить крыльями. Хрипло, с надрывом пела в ру-

ках Финогена гармонь о пересылке, о позабытом, позаброшенном в стороне ото всех. Песни свои он не раз заводил и на улице, и в клубе. Кой-кому они даже понравятся, а мальчишки переймут. И некому одёрнуть. «Чего с пьяного спросишь, — скажут. — Не дерётся, и ладно. Петь никому не возбраняется».

* * *

После длительных снегопадов Фёдору пришлось выйти из леса. Теперь он промышлял около дома. А в свободное время стучал топором на срубе. Хотелось мужику к весне под крышу его подвести. А там незаметно и внутри отделает. Можно уже одному справиться, без помощников со стороны.

В эту пору почтальон привёз ему письмо от заготовителя сельпо Истомина, или, как его зовут в деревнях, Гришки Шведа. Приглашал Гришка в райцентр: карабины в райпотребсоюзе вот-вот получат.

А карабин Фёдор просил давно. Малокалиберка, с которой Фёдор ходил раньше, была взята у родственника. Потом пришлось вернуть хозяину. Из дробовика хорошо быть по птице, а на зверя он не годится. Карабин — милое дело: и пуля крепка, и на большое расстояние бьёт.

Так случай помог нам встретиться. В снегу с головы до ног, щуря глаза от яркого света, он ввалился ко мне с тяжёлым рюкзаком за плечами.

— А ну, поверни! Э-э! Жирком начинаешь обрастиать. И в глазах солнца мало, при закрытых окнах живёшь, — говорил он. — Не по тебе, друг, это, не по тебе. Бросил бы свою редакцию. А?

— Да садись ты, — сказал я Фёдору, положив руку на его неширокое, но крепкое плечо, — садись! Успеем наговориться. Чайку сейчас поставим.

— Чай не водка, много не выпьешь.

— И она будет.

— Э-э-э! Знаешь ведь, как я на неё смотрю, — а сам уже развязывал мешок.

Глухо стукнув о пол, вывалился из мешка глухарь.

— К чему ты? Птицу я брал. Шла она с осени. Глухая-рём меня не удивиши.

— А ты не спеши. Посмотри-ка, руками потрогай, разве это птица? Где тебе такого взять.

Передо мной лежал громадный петух, лапы у которого были шириной с мужскую ладонь, а голова с кулак.

— Ты думаешь, я выбирал? Э-э, нет. Там все такие. Жалко, вместе не сходили. Во — поглядел бы. Другую бы песню завёл.

— За болотами?

— За Никицкиной избой. Там всегда птица держится. Уже по глубокому снегу взял. Вот ещё медвежатники отведать прихватил. Котлеты из неё наивкуснейшие.

— Берлогу нашёл?

— Неподалёку от деревни. За лесом ездил. Собака нашла. С дядей Пашей ходили. Матка была с пестуном. Летось они все на пожнях наспились, скота не трогали, а осенью тёлёнка задавили. Зверю стоит узнать запах крови, а там его не отвадишь. Хорошо, сразу взять удалось. Травянник никому вреда не приносит, а такой зверь может дел наворотить.

— Это что, породы разные? — спросил я, когда мы уже сидели за столом, потягивая густой чай.

— Нет, порода одна. Тут от случая всё зависит. Напьётся разок зверь живой крови и потянет его к стаду. Теперь уж травой да корешками-ягодами питьаться не станет. И расстёт, дай бог. По следу можно отличить мясоеда от травяника. Он всегда крупней.

Фёдор рассказал, как однажды наткнулся на задранного медведем лося:

— Семи отростков сохатый был. Крепок. А не устоял. Когда к речке спускался, тут в тесном месте и прихватил его зверь. На поляну лось выволок на лётчика. Все кусты вокруг переломаны, с корнями выдранны. Цеплялся, видно, лапами зверь, не выпуская глотку сохатого. Не знаю только, как медведь ему шею сломал — или на загривке побывал, или тот собственной тяжестью с маху себе позвонки свернул. Кровь кругом. Тут же зарыл землёй, ветками прикрыл... Дохнуть нельзя... Я с реки запах почуял.

— Встречаются бурые?

— Подальше в лес — есть. На Середней как-то рыбачил, четырёх видел. Три самца, друг за дружкой следом за медведицей по бережку бредут, один крупнее другого. Я из-за поворота с косогора их приметил. Далековато ещё было. И ветер от них дул. Но всё же тихонько-тихонько и к лодке, да вниз по течению без шума. Что ни говори: четыре зверя — не

один. Испугаться не испугался, а опаска всё ж глаза приоткрыла. Это не кулаками, как Финоген, по деревне махать. Медведя ухлопать большого геройства не требуется, но и ум терять не стоит. На зверя идёшь — белую рубаху надевай. Особенно когда у него гон.

Котлеты из медвежатины действительно оказались вкусными. Правда, сладковаты, но для того и перец держим на столе, и чесночок у хозяина имеется.

Вечер пролетел, как минута. Мы опомнились под утро.

— Светает уже. Не даю гостю спать.

— А не наоборот? Может, гость спать не даёт, ядри его корень, — расхохотался Фёдор.

— Прилечь пора.

— Дома-то как? А, Федя?

— Всё то же. Старший-то большой стал. Намедни налима притащил. Сам крюки на рекеставил. А под осень харюзов таскал. В лес просился. В каникулы можно и взять. Помощник...

— Постигм часок...

— Давай, ядри тебя корень. Если храпеть буду, то в бок толкни. Я ведь не приехал, а направим через болота на лыжах махнул. Пристал вроде. А бывало, после такой дороги ещё на танцы бегал. Была тут у меня одна зазноба.

— Спи, рассветает уже.

— А ну его, успеем належаться. Вы-то как? Ты как? А мне с утра заготовителя искать. Он в селе? Не знаешь?

За окном рассвело. В другой половине, у соседей, третий раз прохлопал крыльями петух, возвещая о наступившем утре.

* * *

Заготовителя разыскали не вдруг. Живёт он далеко от села, в деревушке. В сельпо спроси, скажут: «Кто его знает, дома, наверно». Домой заявишь: «С утра ушёл, ещё затемно, в сельпо должен быть», — ответят. Фёдор поймал его на улице в конце дня.

— О, друг, прибыл! — Гриша Швед протянул ему руку, поправляя ремень полевой сумки.

Говорят, с этой сумкой он до Берлина дошёл. Батальоном командовал. Грудь у него вся в орденах да медалях. Многие обладатели таких сумок, с такой биографией сумели в

начальство выйти, погрузнели, медлительными на подъём стали. А Григорий как обосновался в сельпо, так и сидит, будто в доте. Ни дождь ему, ни ветер не страшны. Обжуливать охотников у него привычки нет, ездить по деревням тоже. Их много, а он один. Если кто и сделает десятка два километров лишних, так услышит: «А ты как думал? Не гора к Магомету!.. Мне и тут забот хватает. Что брать будешь?»

Какими-то путями умеет он доставать и капканы, которыхечно не хватает в сельпо, и патроны, и премии выжать для лучших может, себя не забыв при этом. Не обижаются мужики. Свой, говорят, в доску. С таким можно дело иметь.

— А я только про тебя думал. Лицензии, как в письме просил, на куниц выписаны. Всё в порядке. Карабины привезли. У тебя с милицией нормально?

— Ничего плохого не было.

— Завтра с утра разрешение надо получить, а там быстро оформим. Привёй что?

— Кунички есть, как договаривались, норка, выдра, горностаев десяток, ушканы.

— Совсем хорошо. Легче говорить будет. Начальство знаешь как: для чего да почему, скажет, а не дать ли лучше другому? Ипат тоже крутился. Пронюхал старый чёрт, что карабины привезли. Волков, бает, стрелять буду. Кто больше, бает, волков взял?

— Дадут ли ему?

— Как посмотрят. Но ты всё же не зевай. Не проморгать бы.

— Постараюсь.

— Всё-то о вас заботятся, всё-то о вас думай, хлопочи.

— Ты ж для нас отец родной.

— Отец? Гм!.. — заготовитель усмехнулся, сдвинул ушанку на затылок. — И впрямь как отец, только дети не особенно послушные. Ты слышишь, Фёдор, пораньше завтра приходи. Там ещё одно дельце обговорить надо.

— Я уже чую, что не без этого. Больно ты ласков сегодня. Ладно, приду.

Вечером мы пошли с Фёдором в кино. В киножурнале «Наш край» показывали охотников Эвенкии. Бригады отправлялись на промысел. Провожал весь колхоз. Сам председа-

тель напутствовал. И не пешком в дальние урочища добирались, а на вертолёте.

— Живут люди, ядри корень, — сказал Фёдор. — Нам бы так. А было что-то похожее. У меня и сейчас дробовка-двустволка сохранилась. На Выставке получил. Молодым был, гоголем по деревне ходил тогда, а теперь что...

Возвращаясь из кино, встретили мы на мостках Ипата. Трезвёхонького. Редко, но бывает с ним такое. С Карлом Михиным, участковым милиционером, куда-то шёл. Может, остановился у него: сродственниками приходятся. В деревнях ведь как: вроде чужие люди, а копни глубже — родня кругом; и родство это особый отпечаток на отношения между людьми накладывает. Этого не скинешь со счетов, если нужно какое дело выиграть в райисполкоме или еще где. Редко кто устоит против многочисленной родни. Сегодня отмахнётся, а завтра сам на поклон придёшь — как встретят? Впрёрд глядеть надо. А Фёдору что брат, что сват — едино. На пролом, как лось через чащу, прёт. Где бы шапку снять, а он голос поднимает, где бы в гости заглянуть вечерком, а он утра ждёт, кино вместо этого смотрит, да еще рассуждает, мол, живут же люди.

— Не умеешь ты жить, Хозяинов, — говорил ему Григорий, — у палки всегда два конца. Ты про один помнишь, а другой забываешь. Помалкивал бы больше, поддакивал; дураков не ищут — сами рождаются, а голова не для того, чтобы об стенку биться — расшибёшь.

Фёдор вспомнил об этом наутро, когда пришёл в райпотребсоюз. Его там жена встретила.

— Ты чего здесь? — удивлённо спросил он.

— Снова вызвали. Много не хватает: спирт, консервы... Что будет теперь?..

Ни слова не сказал Фёдор, только брови к переносцу сошлись да головой тряхнул, словно только проснулся:

— Долго ещё тебе тут?

— До завтра.

— У шурина остановилась?

— У них. Тебя не знала, где и найти. Всё село не обойдёшь.

— А мы тут с другом вчера заговорились. Ладно, после обеда приду.

К удивлению и радости Фёдора, документы на выдачу

карабина оформили быстро. Палок в колёса никто не вставлял, резину не тянул. Даже начальник милиции ни слова не сказал, подмахнув документ. Лишь на прощанье бросил:

— Карабин — дело серьёзное. Редко кому доверяем. Учи, Хозяинов. Чтоб никакого баловства.

— Не для того хлопотал.

Оставалось уладить ещё мелкие дела и можно было отправляться домой, хотя спешить некуда.

В такие морозы в лес идти незачем. Недельки две-три подождать можно. Белка, правда, стала откуда-то появляться, но в гайнах отсиживается. На куницу лицензии нет. Птицы в такое время много не напромышляешь. На лис капканы поставить надо, да песцы кой-где бродят — из тундры забрели, росомаха шкодничает — давно по ней капкан скучает. А в сельце просят отстрел лосей провести. Три головы. С осени, правда, этим обычно занимаются, но ничего страшного нет, если чуть поздней отбоят. Лицензии-то вправлении есть. Вот тебе и заработка, Фёдор.

А дома опять нелады. Ушла бы Марина из этого ларька. Одна беда с ним — то недостача, то кражи, и виноватых не найдёшь. Фёдор шёл по улице села. На плече его висел но-венский, ещё покрытый смазкой, охотничий карабин.

— Теперь порядок. С таким ружьём любого зверя можно взять. Глаз ещё остёр, ноги ещё гибаются. В хорошую сторону ветер подул.

* * *

Договорную сумму Фёдор ближе к весне уже превысил. Можно бы и свёртывать промысел, домашним делом заняться, но держало его в лесу данное заготовителю слово. Лосей он мог бы взять в любое время: знал места их постоянных кормёжек и переходов, но выжидал, когда стадо, давно привыченное, подойдёт к вершине Федькиного ручья. Уложить лося — дело привычное. В голодное время, парнишкой, не раз валил сочатых свинцовой пулей из самодельной винтовки. Всю деревню кормил, и теперь бабы вспоминают. Бывало и так, что заглянет домой, место укажет, где лось лежит, скажет своим: «Передайте: кому надо, пусть пользуются, мне некогда». Кто не обрадуется куску мяса, когда в домах солому в ступах толкуют. И хотя закон об охране лосей не от-

менялся, но ни у кого рука не поднималась донос писать: не для себя старался.

С тех давних пор Хозяинов, встречая лосей, снимал перед ними шапку, а поздними вечерами, глядя на пламя, горящее в каменке, вспоминал, как однажды чуть не поплатился жизнью. Винтовка его шомполом заряжалась. Ударил парень по быку, да, видно, не в то место пулья угодила. Не в уход кинулся бык, а на охотника. Густой, молодой ельник спас, куда Фёдор не вполз, а закатился. Всю жизнь будет помнить, как летели в разные стороны верхушки ёлок, сучья, как над самой головой мелькали раздвоенное копыто и зубы сошатого, кровью налитые глаза его, слышался рёв и летела в разные стороны пена изо рта.

И теперь не знает Фёдор, как очутился в том ельнике — сам или от удара залетел. Уж если говорить прямо, то Фёдор готов спорить с любым специалистом — их теперь немало, — что сочатых тоже две породы. Не раз примечал, не раз задумывался. Одни — выше ростом, грудью пошире, с тяжёлыми, страшными на вид рогами (как только их голова дергится), светлой окраски. Есть другие: низкие на ноги, с длинным туловищем, комолые, тёмного окраса. Тех берегись! Рогача ранишь — он старается уйти, а комолый — того и жди, что забьёт копытами, на тот свет отправит, злыдень. Уж кто-то, а Фёдор за свою жизнь насмотрелся на лосей. Знает их.

Весной как-то пошёл дрова рубить за поля и на петлю наткнулся, а в ней — лосиха, уже мёртвая. Вздохнул, головой покачал, сетуя на жадность человеческую, да что делать. Прощёл чуть дальше вдоль ручья, несколько петель снял и с лосёнком встретился. Всякое видал, а такое впервые с ним случилось, чтоб зверёныш к человеку потянулся, словно чувствуя, что в его душе творится. Вынул Фёдор из сумки кусок хлебушка, прикорнил малыша, а он — следом, так и до деревни донёшь. Не думал Фёдор брать его себе, не приучен к такому делу, да собака на лосёнка кинулась, а тот к стенке хлева прижался, дрожит от страха — большеголовый, длинноногий.

«Жить тебе у нас, пока не вырастешь. Куда в лесу один?» — и Фёдор, привязав собаку, положил на место выдернутые из гнёзд жерди, насыпал в таз жмыху, разбавил водой, поставил перед лосёнком, а чтоб ему не скучно было, телёнка из хлева выпустил. Дивились люди, как быстро привык

дикарь к человеку. По всей деревне за хозяином две тёлки всё лето бродили. Он за водой к речке — и они туда же, он изгородь городить на колхозных полях — и они следом. Но Машка к осени так выросла, что порой её ласковый толчок — хлеба просила — чуть с ног хозяина не валил; бояться стали, как бы из детей кого не пришибла случайно. Задумываться начали, куда деть её, да сама решила — исчезла после первых заморозков. Поблизости от деревни бродила поначалу, не раз на осенней охоте видел её Фёдор. При встрече обрадованно подфыркивала, но стоило приблизиться — только кусты трещали... А потом исчезла насовсем.

В стаде, что подходит к Федыкиному ручью, пять голов, из них две лосихи. «Не Машка ли одна? — думает Фёдор. — Но, поди, угадай теперь — три года прошло». Фёдор знает, что они через день-другой около избушки будут. Из года в год тут почуют — вековечная тропа. Тут можно и взять. Лыжня от избушки до деревни плотная, чунку легко тащить, вытаскает мясо полегоньку. И на том — крест до будущей зимы. Весной Фёдор в свой угодья не заглядывает — ни к чему зверя и птицу тревожить, когда у них дети растут.

...В солнечное морозное утро он возвращался с обхода путика, неся на плече связку капканов. «Явились! — охотник постоял минуту, поглядел на пробитую в глубоком снегу лосиную тропу. — Знал, что явитесь. До завтра, значит. Не обессудьте, придётся поувабить семью. А заодно и одинца прибрать: осени ему и без того не увидеть. Пожалеть надо старика».

Любого из нас, горожан, предстоящая охота лишила бы сна на несколько ночей, была бы источником долгих разговоров за круглым полированным столом, когда, посасывая трубки, мы заново переживаем минуты азарта, когда трудно понять, что движет тобой. Фёдор относился к ней спокойно. Он шёл на лосей, как мы идём по утрам на работу. Для него это и была работа — дело, которое кормит семью, которым он занимается всю жизнь. Наши разговоры о жестокости человека к обитателям тайги ему непонятны. Не человек для зверя, а зверь для человека, только время и меру знать надо.

«Явились! — и охотник, облегчённо вздохнув, двинул ся дальше, к избушке. Как бы ты ни знал тайгу, а быть уверенным в том, что получится так, как ты ожидаешь, трудно.

Видя свежепробитую сохатыми тропу, Фёдор успокоился: всё идёт, как надо, как задумано. Подходя к избушке, он даже стал насыщивать какую-то песенку, что редко случалось с ним в последние годы, да и не в привычке было.

Всё это я узнал со слов Фёдора, а теперь пора рассказать, что видел сам.

Из Черногорской в Спиридовонку я вышел рано утром. Мороз. Солнце. Полное безветрие. За дорогой следить не нужно, сеновозчики её пробили. Пижемские луга сходятся с участками нерицкого колхоза, и в это время соседи даже в гости друг к другу ездят, что в другое время года невозможно.

Луга, холмистые межи, снова луга, сенокосные избушки по крышу в снегу, глубокие борозды на берегах речек, проложенные выдрами, с шумом взлетающие из тальника куропатки, чернеющие, как головы, на голых лиственицах глухари, тропы, пробитые в снегу «дикарями», и следы мышкующих лисиц, а за всем этим тишина, какую трудно представить.

Теперь, дома, бессонными ночами, мне почему-то прежде всего вспоминается эта тишина, казалось, вечная и в то же время полная движения. Та тишина, о которой мечтают горожане, отправляясь летом в поиски заповедных мест. Чаще всего она бывает рядом с ними, просто не замечают её, наполняя окружающее мелкой суетой ахов да охов, вместо того чтобы вслушаться в себя, настроить себя на эту тишину! А это порой так нужно.

Хотел я или не хотел, а думал про Фёдора, вспоминая его приезд в райцентр, его растерянность, когда он услышал о новых неприятностях дома. И не только о нём. Пижемские охотники тоже говорили, что зверя в лесу не убавилось, просто перевелись настоящие промысловики, а тем, кто хотел бы охотой по-настоящему заняться, крылья подрезают. И винить вроде некого: в колхозах по-прежнему мужиков не хватает, особенно в дальних деревнях.

«Всё на молоко жмут, а сколько добра кругом пропадает... Луга мелкие, много скота не продержишь, а когда-то ёщё болота освоили...» Каждый раз при этих разговорах я слышал похожее: «Промхоз бы... Прикинуть бы... Может, так оно и выгодней. Испокон веков наши с лесом дружбу вели...» Старое, конечно, не вернёшь, да и ни к чему это, но какая-то

доля глубинной правды, скрытая в разговорах, тревожила. Мне вспомнилась деревушка Нонбур, в которой недавно побывал.

Я впервые попал туда весной. На катере мы приехали. Приход катера был для её жителей, как первая посадка «Антея» в городском аэропорту. Бабы стояли на угоре, скрестив руки на груди, мужики наперебой приглашали в гости. Мы не спешили, не отказывались. У меня хватило времени перезнакомиться почти со всеми.

«Браконьерское гнездо, а не колхоз», — рассказывали мне перед поездкой в районном отделе милиции, а начальник помалкивал, вспоминая недавнюю командировку. В деревнях столовых нет, в магазинах — консервы, всухомятку долго не протянешь. Где бы начальник ни останавливался, видел на столе лишь молоко, картофель, солёных окушков, которыми в изобилии снабжает торговую сеть рыбцех.

— Неужели вы так и живёте? — спросил он у знакомого. — Без мяса, без рыбы...

— Так и живём...

— Завезли бы в магазин...

— Ни к чему нам. Привыкли...

А когда начальник милиции уехал, закончив расследование очередного дела о браконьерстве, мужики посмеялись: «Как он окушков-то ел, аж жалко становилось».

Тамошние мужики истари как знатные промысловики славились. О них вспоминают, когда о промысле речь идёт, умалчивая о том, что почти все числятся в списках «зайдых браконьеров».

Браконьер по общим понятиям — это прежде всего вор, действующий исподтишка. Про цилемцев такого сказать нельзя. Тому же начальнику милиции, когда он приехал в Нонбур и задумался, надо ли снимать с лошади хомут и прятать вожжи, одна старушка ласково ответила: «К чёрту, бат, прятать-то. Воров-то, бат, у нас не водилось. Пьют, бат, мужики по престольным праздникам, а такого нет. Чай-но ты, сынок, надумал-то? Прятать, в избу вожжи заносить».

И теперь по пути в Спиридовонку вспомнились нонбурцы, которым нельзя отказать в уме, смётке, ловкости. И в райцентре не все на них косо смотрят. И на судьбу свою они не особо жалуются...

Как-то поздней ночью, возвращаясь с замшевого заво-

да, подседя я на цилемскую подводу. Под сеном что-то твёрдое лежало. Мясо, говорят, сдавать везём. Мясо так мясо, мы не следователи; только подвода эта у соседнего дома суток двоеостояла (пустая, конечно), у дома райисполкома. Корову, да не ту, привезли кому-то мужики. А что им остаётся делать? И сегодня рассказываю не для укора, не донос строчу. Хочется осмыслить, какие силы приводят человека к тому, что на языке закона считается уже не проступком, а преступлением...

День был изумительно хороший, я уже шёл по лугам спиритоновской бригады, иногда оглядываясь назад, чтобы увидеть, насколько прямая лыжня. К стыду признаться, не к чести своей, я всегда считавший себя добрым лесником, которого друзья-горожане причисляли к разряду следопытов, не был в этот день доволен собой, не хотел бы, чтоб кто-то видел мой след. Лыжня была ломаной, сворачивала то в одну, то в другую сторону без всякой на то причины. Разучился я ходить прямо, и ослепительно яркое солнце, словно усмехаясь, отпечатывало на снегу мою тень.

«Э, да я тут не один. Кого ещё черти носят? На местных непохожи». Слева, куда я думал повернуть, чтобы идти направик в деревню, лежала чья-то плотно утоптанная лыжня, уводящая в лес, а по ней ко мне бежали двое в дублённых полушубках, перепоясанных широкими ремнями. Можно понять мое удивление при встрече с работниками милиции. Мы были хорошо знакомы. После взаимных расспросов, кто и куда путь держит, перекуря, горячего чая из термосов, пришли к выводу, что мне лучше присоединиться к ним. Идти недалеко: километров двадцать, может, чуть больше, на полдороге есть избушка, где и переночую.

Ребята шли на узких лыжах, точно по адресу, чтоб «прихватить», как они сказали, злостного браконьера на месте». Я с улыбкой оглядел их снаряжение, подумал, что они привязаны к чужому следу, что на таких лыжах в лесу и километра не пройдёшь, но вслух ничего не сказал. Тоже головы на месте. Рассчитано, значит.

— Ты нам не помешаешь, — сказал старший. — Наоборот. Какой материал в руки сам идёт! Прищучим Хозяинова.

— Фёдора?

— Его. По следу идём. Точно знаем. Хватит безобразничать.

И уже не простое любопытство, а тревога, давно живущая в сердце, беспокоящая по ночам, повернула мои лыжи в сторону Тиманских предгорий. Так вот где судьба готовила нам встречу.

Я не мог, конечно, знать, что дело так обернётся, надеялся на добрый исход, но в то же время хорошо знал этих ребят. Они зря не пойдут, зря следом не кинутся. Что ж он мог отмочить, мой давний друг, бессребреник, прирождённый лесовик? «Что ты натворил, еловая голова?» Но ответ на это мог дать только Фёдор.

Ночевали мы в старой, давно заброшенной избушке, где Фёдор по обычай северян всегда держал сухие смолистые дрова, спички, немного продуктов и даже пятилинейную лампу, заправленную керосином.

Как в гостинице, словно ждали нас,— усмехался Карп, тот самый «друг Егорыча», потягивая крутой чай из кружки.— Пригляд чувствуется за всем. И подремонтирована, видать, изба. Добрые руки у мужика.

— Руки-то добрые, да ума нет,— ответил ему следователь Трусов, молодой, недавно приехавший с курсов парень.— Постоянной работы не имеет. Живёт неизвестно чем. Ведёт себя негодно. У собственной жены спирт из ларька волочит... Куда дальше.

— Он ли? — поднял глаза Карп.

— А кто ж ещё? Сама заявила, хотя теперь по-другому речь ведёт. Чужой не полезет. Теперь вот за лосями удалился. Лёгкого заработка ищет. Обойдётся ему этот заработок...

Участковый уже сидел перед пылающей каменкой, скрестив на коленях руки, опустив голову, задумавшись о чём-то. Следователь лежал на полке и глядел через чуть приоткрытую дверь в полуутёму. Собака бы хоть залаяла или волк завыл — и то веселей. Но лайке взяться неоткуда, волки хотя и в лес смотрят, а держатся зимой ближе к укатанным дорогам. В глубоких снегах они беспомощны, с голоду подохнут, пока наст образуется. Глаза у меня начали слипаться от усталости, ноги заныли и плечи налились тяжестью. Кинув под голову телогрейку, что взял у лесничего, я задремал.

— Двинем, что ли, ребята? — услышал я голос Карпа и удивился, что уже утро.— Бес его знает, сколько вёрст ещё мерить придётся. Они в лесу длинные...

— Тут недалеко. К вечеру будем на месте,— сказал я, поднимаясь.

— Бывал здесь?

— Давненько, правда, но не раз. Ток тут неподалёку отмений, и с осени глухарь держится. Осеновал как-то с Фёдором.

— Вы с ним знакомы? — спросил следователь, приподняв брови.

— Друзья!

— Э-э! Вот это номер. Так, может, знаешь, куда он мясо «сплавляет»?

— Мне зимой привозил... медвежатины!

— Да?.. Свидетель-то вроде не тот...

— В свидетели не гожусь. Знал бы — не пошёл... А теперь в человеке хочется разобраться, в душе его.

— Нам не до психологии. Быка надо брать за рога...

— Так, может, мне лучше повернуть обратно?

— Чего уж там,— ответил Карп.— Дружба здесь ни при чём. По справедливости разберёмся.

— Справедливость у нас одна для всех!

— Я, товарищ лейтенант, слышал об этом. Скоро тридцать лет, как в милиции. Разное видел. Заявление-то один из моих сородичей писал, да не верю я в него. Как бы не напрасно шли...

Пожилой, немногословный участковый Торопов остался в душе тем же крестьянином, каким когда-то был направлен в органы комсомолом. Многие из его сверстников выросли до полковников, один даже стал генералом, а Карп, имевший за плечами всего три класса, а дома большую семью, так и остался участковым. В деревнях дядей Карпом его величали. Даже отявленные пьянячки побаивались не скрытого в кобуре пистолета (да и носил ли его Карп?).

Если кто-то из приезжих начинал подтрунивать над участковым, его тут же обрывали: «Брось, не тот человек». Даже Финоген, сын Варнака и сам Варнак, почтительно снижал шапку, встречая участкового.

Сейчас мне показалось, что Торопов поглядел на следователя неодобрительно. Я как бы прочитал в его глазах: «Горяч ты... Разве так можно...» Но это, наверно, только показалось.

Мы снова шли по лыжне. И чем дальше, тем чаще я

менялся местом с лейтенантом. Чувствовалось, что ходьба по лесу ему в новинку, как бы не сдал на полпути, хотя оставалось уже немногого. Карп шёл ровно, словно не по следам браконьера, а на осмотр ловушек отправился или колоду для лодки выбрать вздумал.

Вот последний взгорок, еловый остров, посреди него, неподалёку от ручья, стоит Федкина изба. Так её звали и раньше. Не мой ровесник, какой-то другой Фёдор, чьи следы затерялись в тайге, поставил её. Хозяинов срубил новое жильё, а название урочища так и осталось прежним.

Пришли мы засветло. В избе было тепло. На каменке стоял котелок, пахло похлебкой из глухаря. Карп вышел из избушки, занёс охапку дров и, снова растопив каменку, поставил котелок на столик, сделанный около окна.

— Нехорошо без хозяина, да извинимся. К его приходу готовим ужин, — сказал он.

Разбор дела о браконьере начался с пробы пищи. Только тут я заметил, как мы проголодались. Котелок можно было не мыть: вчистую вылизали. А лейтенант наш что-то промолк. И ел плохо. Он вскоре забрался на полок, но не снимал кителя, хотя в избе было жарко.

Долго ждали хозяина. Уже звёзды зажглись на небе, мелкий снежок запорошил, а его всё не было. Но стоило услышать скрип лыж, как следователь вскочил с полка.

— Я встречу! — сказал ему Карп. — Вы пока тут сидите.

— А я-то думал, что за гости объявились? — донеслось из-за дверей. — Чую, дымком пахнет. Кто-то суп из консервов варит. Далеко вас занесло. По делам? Один?

— Дело есть!.. — ответил Торопов. — Ты чего с чункой?

— Мясо перетаскиваю, пока лыжню не перемело, а отсюда по насту или вертолётом, может, перекинут.

— В сельпо?

— Кому же больше? Чай кадровый. Оправдывать надо.

Слышишь было, как Фёдор прислонил к стене лыжи, стряхнул с них снег, снял с плеча карабин и тоже поставил его к стенке.

— Ты уж не осуди... Такое дело, — сказал ему участковый, — затвор-то вынь... Сам понимаешь... Подай мне.

— Как не понимать, — и Фёдор протянул затвор. — Люди свои, советские. Надо так надо. Вижу: неспроста пришли. Так и я не разбойник с большой дороги...

— Втроём мы... В избе тебя приятель ждёт, по дороге прихватили.

Фёдор поздоровался со следователем, окинув его с ног до головы любопытным взглядом, и, увидев меня, загремел:

— Пришёл, наконец... Эх ты, еловая голова! Всегда не вовремя. Еле доплёлся, наверно?

— Чуть держусь.

— А лейтенант завтра лежать будет. Он, кажись, ноги сбил.

— Ты откуда знаешь? — засмеялся следователь.

— На ваши следы вышел. Больно худо ты шёл. Жалко стало. Куда, думаю, его лешаки ташат. Опять, наверное, о ларьке будете вести разговор или ещё что новое?

Следователь отмочился и вместо ответа сказал:

— Действительно, мозоль набил.

— Дядя Карп, вот в бутылке гусиное масло. На всякий случай держу. Будь за фельдшера. Помоги старшому, — ответил хозяин избушки, посмеиваясь. — Если уж он до Федкиных угодий добрался, то выйдет из него угрозыск. Не бывали ещё вы у меня. Дел не было или силёнок маловато?

Лейтенант держал себя насторожённо, но спокойствие участкового, видимо, подействовало и на него.

— Осторожно, дядя Карп! — взвыл он вскоре. — Іы-и.. А ещё обратно идти...

Фёдор весело посмеивался, расспрашивал о деревенских новостях, но чувствовалось: ждал главного вопроса. И он, этот вопрос, был задан.

— Не будем тянуть... — уже по-другому сказал лейтенант, присаживаясь поближе к лампе и раскрывая полевую сумку. — Год рождения... Имя, отчество, фамилия... Место работы...

За Фёдора отвечал Торопов. И только на вопрос: «Лосей бил?» — Хозяинов ответил сам:

— А-а, вот вы с чем? Около избы чунка с мясом стоит. Еле приволок. Остальное в лесу. Сколько? Три головы. Коров не стал трогать. Машка это, наверное, та, которую расстил... Лицензия? По договорённости с сельпо. Так же и куниц сдавал...

Наутро Карп один сходил на место отстрела лосей, удостоверился в правдивости показаний.

— Придётся тебе с нами следовать,— сказал лейтенант так же строго, но уже не повышая голоса.— Вот ордер на арест. Карабин, конечно, изымаю.

— Надо так надо. Чунку-то, может, возьмём, дядя Карп, не пришлось бы тащить кого.

Старый уполномоченный усмехнулся в седые усы, хватит, мол, заводить парня, дело серьёзное.

— Отдохнём ещё денёк, товарищ лейтенант,— сказал Торопов следователю.— Положитесь на меня. Всё будет в порядке.

Тому пришлось согласиться. А утром и совсем на мирный лад перешли, словно не было допроса. Уговорил я лейтенанта, чтоб разрешил нам на глухарей сходить. Фёдор на днях видел их поблизости.

— Валяйте! — махнул он рукой.— Я тут покашеварю. Хорошим парнем оказался, но карабина всё же не дал. Пришлось с двустолками идти.

— Кто там дурью маётся? Кому чирей на мягкое место сел? — беззлобно ругнулся Фёдор, когда мы отошли от избушки.

— Лицензии-то у тебя нет. Чуешь, чем пахнет?

— Ерунда. Уговор — дороже денег. Не станут же в заботкорте отказываться. План по отстрелу не выполнен. Правда, по времени припозднились, так это тоже обговорено. Чушь какая-то. Без пол-литра не разберёшься. А лейтенант-то каков — еле на ногах держится, а виду не показал. Ничего парень, ничего!..

* * *

В Спиридовонке между тем лесник Машенцев слёг. Не знал, удивлялся, как это болеют люди, а тут вернулся с делянки, прилёг отдохнуть и не встал.

— Притомился я, наверно, Фатина,— сказал он утром племяннице.— Годы не те. Голова что-то тяжеловата и поясница ломит.

Его пухлые руки бессильно лежали поверх ватного одеяла, редкие русые волосы слиплись от пота, ямочки на щеках стали сизыми.

— Может, за фельдшером сбегать? — обеспокоенно спросила Фатина.

— Обойдётся. Вот полежу немного и встану. Метель вечер сильная была, продуло, видно.

А к вечеру поднялась температура. Старик бредил.

— Матвеевна, а Матвеевна,— звал он жену, словно она могла прийти на его зов.

Фельдшер, девчушка, работающая в деревне первый год, не знала, что и делать. Она понимала: воспаление лёгких, надо бы в райцентр везти, но как... Самолёты вызывать, но для этого надо кого-то послать в Нерицу, в сельсовет, да и погода нелётная. Гонца всё же послали, надеясь, что вертолётики из экспедиции выручат, но пока прояснило, Павел Алексеевич пришёл в себя.

— Спасибо, милая,— сказал он то ли фельдшеру, то ли Фатине.— Приболел я? Про вертолёт-то вы говорили?

— Мы. В больницу вам надо.

— Дома отлежусь. Полегше стало. Не надо докторов.

Старику и впрямь полегчало. Только осунулся, на себя стал не похож.

Егорыч, узнав о болезни дружка, тут же в Спиридовонку прокатился.

— Ты чего это, Пашка? — сказал он, сбрасывая малиницу и присаживаясь на табуретку.— Надумал тоже. Весна скоро. С кем весновать буду? Вот тебе и дружок, надеялся на такого,— узловатые пальцы старика уже вынимали из продуктовой сумки, сшитой из клеёнки, столь же старой, как и её хозяин, какие-то свёртки и банки. И пиджак он тут же сбросил.— Душно у вас,— в своей видавшей виды толстовке, расстёгнутой у ворота на одну пуговицу, Егорыч оказался не по годам моложавым.— Ты бы самовар, девонька, поставила. Без чая какая беседа? — сказал он Фатине.

— Уже кипит! — послышалось из кухни.

До приезда Вокуева в доме было тихо, Фатина старалась, чтоб половицы не скрипнули, когда дядя спал. Стоило ему губами почевелить — она уже тут. И фельдшерица не отходила от старика все эти дни.

— Они про вертолёт говорят,— Машенцев приподнял руку и показал на дверь.— Так ты того, не давай. Слыши? — он поманил Вокуева к себе.— Боюсь я, Егорыч. Столик лет лесником, а не летал ни разу. Страшно там...

— Без докторов обойдётся. Ладно! Я вот тебе малиники привёз. Заварим сейчас с Фатиной. Да и травки целебные есть. Испей, полегше будет. А доктора я уговорю. Надо будет — на лошадке тебя увезу: оттепель на дворе. Как тебя угораздило?

Вот и надеялся... — он покачал головой и поправил сползшую на лоб седую прядь.

— С лесоучастка одну вёз, расчёт взяла, а она с девчонкой. В летнем пальтишко дитё. Ну и... закутал в полуушубок. А фуфайка-то не греет. Ветерком прохватило, видно.

— Ну, ну!.. Не вставай, лежи. Я погощу у тебя покудова. Дружок чай. Мы тебя с Фатиной быстро на ноги подыщем.

Вертолёт, вызванный по радио из сельсовета, прилетел, когда надобность в этом отпала. Вокуеву не пришлось уговаривать врача. Доктор, столь же молодой, как и спирidonовский фельдшер, осмотрев больного, сказал, что кризис миновал, оставил необходимые лекарства и улетел. Это не помешало Егорычу вечером шёпотом, чтоб не слышала Фатина, рассказывать:

— Я его и так и эдак — ни в какую. Заберу, говорит. В больницу его, говорит, надо. А там погорчей пильюль — уколы начнут делать. По десять штук в день. Взвоеши! И здорового в могилу сведут. Был я однажды там... Еле уломал доктора. Под твою, говорит, личную ответственность, Егорыч, оставляю. Так что гляди у меня, Пашка. Оба в ответе. Чего морщишься-то? Сказал доктор: «Четыре раза в день по две таблетки принимай». Мы тебя, Пашка, быстро на ноги поставим.

И действительно, Павлу Алексеевичу день ото дня становилось лучше. В глазах не стало лихорадочного блеска, с губ исчез белый налёт, он уже начал расчёсывать гребнем бороду, прикидывать, как они с Егорычем весновать будут.

И Фатине с приездом Егорыча стало легче. Она не знала, как и благодарить старика.

— Надумала тоже,— посмеивался Вокуев.— Чай дружки. Про меня бы Пашка такое узнал — тоже бы приехал. Когда меня сучьями задело — лешак сунул к той сосне: кто знал, что она так падать будет,— он чуть лошадь не загнал. Гляжу, руки у мужика трясутся, где, говорит, Егорыч, жив ли. А мне только плечо и поцарапало. Мясо-то на мне немногого, кости да жили одни. Полежал, да и встал.

— Добрый он...

— Знаю. Дружки чай. Так как вы порешили-то?

Этот вопрос застал Фатину врасплох. Она думала, что Егорыч не слышал её разговора с бывшим мужем. И двери были прикрыты, и говорили тихо, чтоб только двое знали.

Она давно ждала этого прихода. Давно знала, что скажет. Ни до свадьбы, ни после Финоген не был ей близким. И как тогда согласилась на уговоры, сама не понимает. Может, думала: поживётся — слюбится. Финоген хоть и буйн, но не из самых плохих мужиков. Похуже его есть. У него из рук ничего не валится. Когда бы другая жена, может, у него по-другому жизнь пошла. Не любит его Фатина. И он знает это. Сердцу не прикажешь. А сам присох нежданно-негаданно.

И ждала этого разговора Фатина, и боялась, зная нрав Финогена. Как-никак, а жена, на развод ещё не подавали, хотя давно не живут вместе. И зачем он приехал? Нашёл бы другую где. По-доброму, по-хорошему развелись бы. Жизни-то всё равно не будет. И что за напастя такая: муж рядом, а её к другому тянет, к непутёвому, а у того семья. Но он чувствует это. Не зря заходит, не зря кепку в руках мнёт. Сколько лет уже, а всё жалко, что разминулись тогда, не сказали друг другу главного. Она ждала, а он не понял. Сказал бы — без свадьбы, супротив воли родных, его половиной стала бы, на край света бы за ним пошла. Быть бы вместе, а там хоть трава не расти. И сам не пошёл на поклон, и за собой не позвал. А теперь ещё забота — забрали его, срок дадут, говорят...

Всего ждала Фатина, но только не такого Финогена, каким он явился.

— Присесть-то можно? — спросил.

— Не чужой. Знаешь, куда шапку положить.

— Знать-то знаю, да на всё твоя воля. Ну как?

— Чего об этом говорить. Я тебе давно сказала.

— Уезжаю я, Фатина. Утром. Попил, погулял, на тебя издали посмотрел — и хватит.

— Спасибо, что не куряжился.

— Не всё же худым быть. Если отец варнак, то и сын тоже?

— Я тебе ничего не сказала...

— Сам вижу... Да белый свет без тебя не мил. Вместе бы, да не поедешь. На беду, знать, наша свадьба была.

— Я не печалюсь, а тебе чего? Послушай, Финоген. Добра тебе хочу: брось дурью маяться. Берись-ка за ум. Невеста найдётся. Получше меня девки есть.

— Так как порешили-то? — переспросил Егорыч, глядя на Фатину, которая молча сидела у окна.

— По-доброму. Плохая я ему жена. Другую ему надо.

— Слышал я ваш разговор. Хорошо, что ласково обшлась. Добром можно горы свернуть. Не получилось у вас что-то. Ни к чему друг друга мучить. Верно вы порешили.

— Боюсь, запьёт он без меня. Вина на мне будет.

— Не бойся. Финоген упрям. Истый чалдон. Сказал: «Ещё услышишь!» — так оно и будет. Я его знаю. Он чего-то про Фёдора баял?

— Да так... Донос-то Ипат в район послал. По злости. Делят они что-то между собой.

— А ты тут при чём? — старик испытующе, из-под бровей, глянул на Фатину.

Она смущилась, зябко поёжилась, поправила сползший с плеча платок:

— Я-то? Не знаю.

— Всё ещё помнишь? Люб?

— Люб, дядя Ваня. Да что поделать.

— Дурьи головы. Сечь вас надо вместе с Пашкой. Одной вицей бы. Э... Люди! Всё выгоды ищем. В ней ли счастье? — сказав это, старик осёкся и, заметив, что Фатина вот-вот расплачется, положил на её голову свою худую руку, погладил, как ребёнка: — Ну-ну! Ещё с тобой возиться... Хватит нам и Пашки...

Фатина улыбнулась сквозь слёзы.

— Ты думаешь, старик ничего не знает? Егорыч всё подметит, хотя слова не скажет. Путнул вас единова, когда вы... — старик усмехнулся, — целовались... Мне аж завидно стало, что годы ушли. Ненароком наткнулся. Знал бы, в сторону свернул...

— Это когда я платок под берёзой оставила?

— Во-во!. Вспомнила!

— А мы-то бежали, перепугались. Злых-то языков много...

— Добрых людей больше, девонька.

Не знал Егорыч, что в этот вечер ему придётся услышать ещё одну исповедь. Когда Фатина ушла в телятник, Машенцев позвал друга:

— Подложки-ко подушку повыше. Хочу я тебе, Егорыч, одно слово сказать.

— Как будто не надоел ещё? Ну, говори.

— Чую, хоть и поправляюсь, долго мне не протянуть. Дерево, если загнёт, то долго не простоит. Погодки-то наши уже...

— Ну-ну, Пашка. Ты чего это? Нам ещё с тобой невеста искать надо, а ты... Гм! Тоже дружок называется.

— Слушай. Как брату скажу. Грех на мне лежит. Тяжкий грех. Невмоготу больше носить. Клавка-то не зря болтала. Есть в лесу крест... Своей рукой заменял не раз. Никифора-то Ипат убил!.. А мне Бог судил к реке супротив их выйти в то время. Видел всё... Перепугался я. Ипат меня тоже увидел. Пристрашал, зарок взял молчать. А он, этот зарок, вон как обернулся. Один грех, видно, другой тянет. Принудил он, а то, говорит, на тебя заявлю, докажки потом, что не ты убивец. Уговор молчать свадьбой скрепили. И сам не знаю, как попутал меня Варнак, чем улестил. Испужался я тогда больно, думал и вправь засадит, а кому охота в тюрьму. От него всего жди, а с него как с гуся вода. Перед Фатиной я и на том свете буду в долгу. Не скинет с меня Господь этого греха. Кому её в дочери отдал... Осподи, прости меня, окаянного.

Ничего не сказал в эту минуту Вокуев. Дал дружку выговориться, боль свою излить. И только когда лесник, ожидая ответа, открыл глаза, промолвил, наконец:

— Догадывался я, Павел. Сколько передумал... В этом я не судья. Да и кому теперь нужно знать. Сколько лет прошло. Не поправишь того, что случилось. Мне сказал — и ладно. Фатине не проговорись: беда будет!

— Ты-то, Егорыч, простишь меня, грешного?

— Что я? Знал бы точно раньше, своими руками бы тебя... — Вокуев не договорил. — От страха и девке жизнь испоганил... А Никифор — мужик какой был! Гордец, баял, один всё промышлял... Теперь нам с тобой, Пашка, нечего делить. В согласии я с тобой — собираться потихоньку надо. Да чтоб спокойно, с чистой душой, всё, как есть, выложив.

Когда Фатина вернулась домой, старики сидели за столом, пили чай с малиной.

— Совсем полегчало, дядя? — обрадовалась она.

— Полегчало! — ответил за Машенцева Вокуев. — Совсем на поправку пошёл. Теперь ты одна присмотришь за ним.

— Поживи, Егорыч, — сказал лесник.

— Рад бы, да фитили в реке, наверно, уже трещат от рыбы. Сколько дней не тряся... Ты гляди, Фатина, много-то ходить ему не давай. Знаю его, дурного. Дай волю — тут же дрова пилить начнёт или за сеном поедет.

— Пригляжу...

— А ты, Пашка, слушайся. Она одна у тебя. Рассердится, худо будет. И я тебе тогда больше не дружок. Не болтай много — это тоже вредно для здоровья. Да иконы-то хоть занавеской прикрой. Сколько тебе говорил: «Выкинь их. Бог нам не подмога, а пережиток. Самим думать надо».

— Почтальон приехал. Фёдору, бает, статью приписывают. За лосей. Браконьер!.. — сказала Фатина.

— Какой из него браконерь?.. Напрасно кто-то воду мутит. Всё утрясётся, — успокоил её Вокуев.

— Уехал? — поинтересовался он у Фатины как-то между делом.

— Утром. На мотоцикле.

«Про Финогена?» — спросил Машенцев взглядом. «Ы-ты!» — незаметно от Фатины показал ему рукой из-под стола Вокуев.

— Доберётся ли? Всё форсит.

— Дорога плотная. Проедет. Куда путь-то направил?

— На буровую собирался. Там, говорит, люди, жизнь, а тут темнота.

— Подорожников-то положила?

— Какой ни есть, а мужик. По-доброму проводила. Жалковато его тоже.

Вокуев качнул головой.

* * *

Это лишь кажется, что зима длинна, а ударит март, и почувствуешь — весна на подходе. Утренники ещё под тридцать, а в полдень — капель. Вот и глухарь начал чиркать по снегу кончиками крыльев, отправился пешком в сторону тока. Всегда так было и будет. В это время я от Фёдора записку получил: «Принеси мне заваленную подушку. Больно жестко спать подследственному. Да ещё что-нибудь вроде старой шубёнки. Я договорился, дежурный передаст».

Следствие, хотя картина была вроде бы ясной, затянулось. Фёдор сидел в камере предварительного заключения, в старом деревянном здании, похожем на склад.

Фёдора увидеть мне не удалось. «В другой раз, — сказал мне дядя Яков, стороживший это место, глядя в упор через круглые очки. — Порядок во всём должен быть. В другой раз».

Тогда же встретил Торопова, поговорил с ним. Старый уполномоченный покачал головой:

— Худо дело оборачивается. Влип мужик.

— Он же не виноват. Вы сами знаете. Ничего не скрывал, не таил. Не для себя же?

— В том-то и дело. Фёдор — упрям. Как только узнал, что в сельпо лицензии не были оформлены должным образом, — всё на себя взял. Надо по-настоящему разобраться, а он ни в какую. Хоть кол на голове теш! Я уж и так и эдак к нему, по-свойски, тебе ж, говорю, лучше. «Отстань, — скажет и рукой махнёт. — Всё одно».

То, что я услышал от участкового, было новостью. В селе уже поговаривали, что выпустят скоро Фёдора: припугнут, как обычно, для острастки — и пошёл домой. Ему бы премию, а тут — под суд. Нет, такого оборота я тоже не ожидал, думал — перемелется всё, утрясётся.

В сельпо не отказывались от того, что устная договорённость была, но лицензии (без имени охотников) находились в райпотребсоюзе, потом их передали в другой сельсовет, где лосей не оказалось, и не на три, а на двенадцать голов. Когда же началось следствие, переоформить их было нельзя: и закон не позволял, и время упустили. Надеялись на то, что договорятся с прокурором, но Фёдор все карты перепутал.

— Завалил трёх сохатых, ну и судите, — заявил он при первом же вызове к прокурору. — Браконьерство — общественное зло, на каждом углу про это написано, значит, искоренять надо...

— Успокойтесь, — говорил ему прокурор, — разобраться, Хозяйников, надо, что к чему. Не верю в это. Много таким способом били лосей?

— Не спросясь? Ага! Как полный запрет сняли. Не жить же без мяса.

— Сколько же на семью надо? — прокурор был не новым человеком в районе, и его тоже удивляло непонятное упрямство охотника.

— Четыре рта. Считайте.

Заготовитель, вызванный в прокуратуру, признался, что общий грех: не оформили, как нужно было, но всегда же так делали. Кто же, мол, знает, откуда лоси появятся и в какое время. А план-то по отстрелу горел.

— Мясо вывезли? — спросил прокурор.
— Собирались вывезти, но точно не скажу: в Спиридоновке телефона нет. Ещё успеется.

— Вы можете на суде подтвердить сказанное здесь?
— Не откажусь. Я ещё плохого людям не делал.

Я написал письмо в управление охотниччьего хозяйства, позвонил в республиканскую прокуратуру с просьбой вмешаться в дело, разобраться в сути его, но ответа не было. Нет, я верил, там разберутся, поймут, но слишком круто всё обернулось, слишком неожиданно, слишком времени мало; оно вроде бы и незаметно идёт, а коснись — уже не успел сделать, что хотел.

Дело передано в суд. Он решит. Но что заставляет Фёдора упрямо брать вину на себя, какой ветер заносит его не в ту сторону? Не то ли, что у каждого из опытных охотников лежат дома шкурки куниц, выдр, норок, которые не могут быть сданы? Лицензии-то нередко оказываются пустой бумажкой, ничего не решающей. Они лежат в столе директора заготконторы и только в конце сезона показываются на белый свет. А договор? В нём, кажется, оговорено всё, но обязательство-то охотник берёт только на некоторую сумму. Каждый старается сдержать слово. Промысел на авось ведут. Порой бывает и так, что нужда заставляет охотника сбывать драгоценные шкурки частникам. Кто ж виноват в этом? Одна причина: нет хорошо налаженного охотничьего хозяйства, а вести промысел по старинке уже невозможно.

Или Фёдору надоели семейные неурядицы, и он на всё махнул рукой? Нет, надо увидеться с ним. Тут что-то не то. Заносит порой мужика. Не зря спиридовцы говорят, что с загибами он, не сразу поймёшь.

* * *

Суд был в райцентре. Народу собралось много. Каждому хотелось знать, чем закончится эта история. Из Спиридоновки были вызваны свидетелями жена Хозяйнова и Данилыч, который и навёл работников милиции на след браконьера.

Я сидел недалеко от Фёдора и старался понять, о чём думает он, но ничего не мог прочитать на лице друга. Оно было спокойным, словно дело шло о ком-то другом. Может быть, только чуточку побледнело его лицо за время отсидки в камере предварительного заключения.

— Скажите, подсудимый, — обратился к нему судья, — как вы решились на открытое браконьерство?

— А я ничего не решал. Нужно было — завалил!

— Знали, что за это полагается штраф?

— Как не знать. Да ведь в лесу-то мы хозяева, знаем, что делаем.

При опросе свидетелей первым вызвали заготовителя.

— Вы подтверждаете, что поручали Хозяйнову отстрел лосей?

— Устная договорённость была, — ответил Истомин. — Лицензии, правда, на его имя не выписывали. Так это дело правления.

— Значит, вы соглашаетесь, что причастны к браконьерству?

— Так всегда было: вначале отстреляем, потом оформим. Не отказываюсь. А как иначе? Четвёртый год нас ругают, что план не выполняем.

По залу прошёл шёпот, прозвенел колокольчик судьи.

— Свидетельница Хозяйнова, вы подтверждаете своё заявление о том, что ваш муж тайком от вас открывал ларьки, брал, что ему было нужно. Растрату вы погасили?

— Чего подтверждать? Откуда я знаю, кто брал. Только по акту. Не первый раз плачу. Не расхлебаться мне с этим ларьком.

— Заявление вы писали?

— Я. Ну и что ж? Разобраться просила.

Фёдор сидел, опустив голову, казалось ни на кого не глядя, ничего не слыша.

Когда вызвали Данилыча, старик быстро и точно ответил на вопросы судьи. Да, жалобу писал он. И милиционеров на лыжню он вывел. Так все же знают: Федька — браконьер, тем и живёт. Истинный тунеядец, Хозяин никудышний, работничек для колхоза — тоже. Откуда узнал? Федька сам проговорился. Разве можно на такое безобразие спокойно глядеть? Разве не правда?

Много в этом зале разбиралось дел о браконьерстве, но такого ещё не было. Уже кое-кто из пришедших, пожимая плечами, говорил соседу: «На поруки возьмут. Какое тут браконьерство». Но мода брать на поруки всех, кого надо и не надо, уже шла на спад, да и не могло быть речи о том.

Коса, как говорят, на камень нашла. Фёдор не отнекивался, не выкручивался, не пытался оправдаться. Он как будто не понимал, в чём его обвиняют.

Два года исправительно-трудовых колоний и штраф, платить который придётся много лет, присудили Фёдору. Иначе и нельзя: три лося. Мы ждали большего. Сельпо было предложено вывезти мясо, сдать его в торговую сеть. В частном определении суд записал в адрес заготконторы: «Преодолеть директора, что при нарушении правил охоты он будет привлечён к ответственности...» Но что оно, это частное определение? Оно вроде выговора без занесения в личное дело: дали и забыли.

Ипата при чтении решения суда уже не было. Марина стояла в дальнем углу, прижимая концы платка к глазам, а вокруг неё образовалась пустота. Казалось, люди что-то хотят сказать ей, но глянут — и пройдут молча мимо.

— Пропадёт Фёдор, как пить дать, пропадёт! — сказал кто-то в дверях.

— Было бы кому ждать — не пропадёт! — послышалось в ответ.

Я, выходя со всеми к дверям, оглянулся. Это была Фатина.

— И ты здесь?

— А где ж мне быть? — тоже вопросом ответила.

— Расступитесь немного, — послышался голос. — Дорогу, говорю, дайте. Чего столпились? Посудачить дома успеете.

— Подушку и полушибок забери у надзирателя, — сказал Фёдор, на какую-то секунду остановившись. — А то он того... Жаден старый хрыч.

— Ну, будь...

— Перемелется. Долго не задержусь. Завтра кассацию подам. Теперь можно. Скоро увидимся.

* * *

Тут, около дверей, я и распрошался с Фёдором, на какую-то секунду задержав его ладонь в своей больше, чем положено. Тут простились с ним и Фатина, на глазах людей, которые не высказывали ему ни осуждения, ни упрёка, а лишь молча спрашивали: «Что ж ты так?»

Павла Алексеевича вскоре не стало. Марина тут же переехала к родственникам. После её отъезда пополз слу-

шок, будто зимой не раз вечерами видали возле ларька Ипата с приятелями из сплава. Нечисто, говорят, тут дело, но не пойман — не вор, мало ли чего люди не скажут. Карабин Ипата так и не сумел получить. А мясо, что заготовил Фёдор, осталось лежать в тайге. На себе никому вытаскивать не хотелось, а перед самой весной ударили метели, и его не смогли найти, хотя и вертолёт специально нанимали.

Впервые в жизни я был не в силах выполнить задание редакции, когда шёл суд над Фёдором.

— Не могу, — сказал тогда редактору. — Концы связать не могу.

Отчёта с этого суда у нас так и не появилось. А я всё чаще думаю, что ушёл в кусты, что смелости не хватило, что с того дня и на мне лежит какая-то доля вины за судьбы Хозяиновых. Может, потому и мучит эта история, что нет у неё конца? А так ли? Может, лишнее на себя беру?

В междуречье недавно промхоз образовали. В газетах и по радио объявления идут: «Требуются опытные промысловики...» А где их взывашь сразу-то, настоящих промысловиков, ведь эта древняя профессия столь же сложна, как и многие из современных, если не больше.

Проезжая как-то по старому тракту, я всё глядел по сторонам, надеясь увидеть следы Фёдора, но их не было. Ждал, а жизнь уже повернула эту историю другой стороны. Дома лежала телеграмма: «Встречай. Глухари и поздней осенью токуют. Фёдор».

Значит, уже освободился. Каким путём? Сколько же прошло? Немногим больше полугода. Мне остаётся лишь радоваться, что Фёдор возвращается в родные угодья, где с топорами в руках прокладывали свои путики наши деды и прадеды. А то, что его собственный путь на какое-то время оказался тупиком, так это поправимо. Жизнь в наших руках. Мы её хозяева. Не то время, чтобы человек в зазря пропадал. А как удалось Фёдору сократить срок на полтора года и кто помог в этом, он когда-нибудь сам расскажет.

На столе лежит телеграмма, которой я не ждал, но которая поставила крест на этой, прямо сказать, не очень весёлой истории. А я всё мучаюсь, всё думаю, что могло её и не быть. Думаю, всё ли сделано, чтоб не повторялось такое.